



д м и т р и й п о л я к о в
{ к а т и н }

для тех,
кто умеет
читать

ДЕТИ НОВОЛУНИЯ

{ РО М А Н }

Для тех, кто умеет читать

Дмитрий Поляков (Катин)

Дети новолуния

«Центрполиграф»

2013

Поляков (Катин) Д.

Дети новолуния / Д. Поляков (Катин) — «Центрполиграф»,
2013 — (Для тех, кто умеет читать)

Перед нами не исторический роман и тем более не реконструкция событий. Его можно назвать романом особого типа, по форме похожим на классический. Здесь форма – лишь средство для максимального воплощения идеи. Хотя в нём много действующих лиц, никто из них не является главным. Ибо центральный персонаж повествования – Власть, проявленная в трёх ипостасях: российском президенте на пенсии, действующем главе государства и монгольском властителе из далёкого XIII века. Перекрестие времён создаёт впечатление объёмности. И мы можем почувствовать дыхание безграничной Власти, способное исказить человека. Люди – песок? Трава? Или – деревья? Власть всегда старается ответить на вопрос, ответ на который доступен одному только Богу.

© Поляков (Катин) Д., 2013

© Центрполиграф, 2013

Содержание

О качестве прозы	5
ДЕТИ НОВОЛУНИЯ	6
Серо-голубой	6
Джунгарские ворота	11
Дети новолуния	16
1	16
2	17
3	18
4	25
5	28
6	31
7	32
8	34
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Дмитрий Поляков-Катин

Дети новолуния

О качестве прозы

Несколько лет назад я прочитал книгу неизвестного мне тогда прозаика Дмитрия Полякова-Катина «На выдохе» и с удовольствием открыл для себя зрелого, крепко владеющего словом писателя. В его слове я почувствовал уверенную энергию правды.

Сегодня передо мной новый его роман, «Дети новолуния», на который хочу обратить особое внимание. Но прежде – несколько слов о качестве прозы Дмитрия Полякова-Катина.

По моему глубокому убеждению, серьезной художественной литературы, которую будут долго читать, не может быть вне традиции. Именно традиция мировой, в первую очередь великой русской литературы закладывает прочные критерии, без которых нет искусства слова.

В прозе Д. Полякова-Катина заметно влияние той самой русской литературы, о которой мы в последние годы стали всё больше вспоминать, не находя её качественных следов в новых постперестроечных книгах.

Поляков следует критериям русского реализма, что позволяет мне, как читателю, повторить фразу Станиславского – верю! И это несмотря на то, что часть действия романа «Дети новолуния» отнесена к началу XIII века, на территорию погибающего Хорезма.

Автор сопрягает сцены, судьбы, взаимоотношения персонажей «особым переживанием», которое можно назвать процессом преобразования неосознанного в осознанное, для выражения основной идеи произведения.

«Дети новолуния» – не исторический роман и тем более не реконструкция событий. Я назвал бы его романом особого типа, по форме похожим на классический. Здесь форма – лишь средство для максимального воплощения идеи.

Хотя в нём много действующих лиц, никто из них, как мне представляется, не является главным. Ибо центральный персонаж повествования – Власть, проявленная в трех ипостасях: российском президенте на пенсии, действующем главе государства и монгольском властителе из далёкого XIII века.

Перекрестие времён создаёт впечатление объёмности. И мы можем почувствовать дыхание безграничной Власти, способное исказить человека. Люди – песок? Трава? Или – деревья? Власть всегда старается ответить на вопрос, ответ на который доступен одному только Богу.

В пространстве нашей сегодняшней российской словесности, засорённой гламурными и брутальными вещами, которые пытаются быть изощреннее текстов Джойса и Кафки, рассчитывая шокировать читателя, произведения, подобные книгам Полякова-Катина, попадают крайне редко. Но радостно, что они всё-таки есть.

*Юрий БОНДАРЁВ,
писатель, лауреат
Государственной премии СССР*

ДЕТИ НОВОЛУНИЯ

Владеющий девятью лунами не нуждается в солнце.

Серо-голубой

Вот уже час или два – солнце еще не достигло зенита – волк серо-голубого окраса бежал ровной рысью вниз по степи к широкой балке, вдоль и поперёк изрезанной ложбинами, в которых легко было затеряться. Это был крепкий, матёрый зверь в расцвете сил, главарь небольшой, но отчаянной стаи, легко нарушавшей границы чужих территорий и хладнокровно вступающей в драку за право терзать свою и чужую добычу; он не привык, да и не умел сдаваться.

Сухая позёмка мелкими иглами секла язык и глаза, но серо-голубой не обращал на это внимания. Он бежал на солнце, стараясь время от времени перемещаться боком, чтобы в потоке перекрёстного ветра учуять близость идущей позади белой волчицы, оценить пределы её сил и возможностей. Волчица была напугана, но пока не до такой степени, чтобы потерять голову; она старалась не упускать из виду серо-голубого и следовала за ним, но всё чаще оглядывалась, и то, что она видела, наводило на неё тоскливый ужас. Это начинал понимать и волк. Дело в том, что белая была беременна, и поэтому нервы её могли не выдержать, а потерять приплод значило ещё больше ослабить стаю – прошлой весной их волчат передушил взбесившийся от голода волк-одиночка, и в результате стая не укрепилась молодняком. А не укрепились – значит, стала слабее.

Влетев на заснеженный холм, с высоты которого далеко просматривалась широкая степь, серо-голубой на минуту замер, озираясь, чтобы сверху оценить всю серьёзность грозившей им опасности. Из пасти у него беспрерывно валил светящийся на рассветном солнце густой пар, сразу же сносимый пронзительным ветром. Маленькие жёлтые глаза слезились, но глядели уверенно и цепко.

Ломкий морозный воздух пробил долгий, натянутый визг. И сразу по степи отчётливо рассыпался глухой, костяной топот лошадиных копыт. Белая заложила уши на затылок и перешла в крупный, неровный бег. Их было двое, два чёрных силуэта всадников, сросшихся со своими конями, неспешно и даже лениво трусивших далеко друг от друга по обе стороны от несущейся вслед жожаку белой волчицы.

Сильно оттолкнувшись задними лапами от земли, так что кверху брызнул фонтан ледяной пыли, серо-голубой со всех сил ринулся вниз с холма. Важно было, чтобы белая поняла его намерение и как можно раньше увидела его, на какое-то время заслонённого холмом, чтобы не пыталась залечь в прямых излучинах, а шла за ним к той балке, которую он выбрал.

Но и люди понимали серо-голубого и поэтому не обращали на него внимания, полностью сосредоточившись на волчице. Один был молод и горяч, другой старик. Под первым бежала мохнатая гнедая лошадка, второй сидел на белом в чёрных яблоках скакуне. Они только входили во вкус, перекликаясь визгливыми криками, морозный воздух пока лишь холодил кровь, и туго сплетённые, тяжёлые ременные плети ещё болтались без дела на поясах. Волков выдали орлы, без видимой причины начавшие бесшумно кружить над пустынными сопками. Это был добрый знак для азартного человека.

Наконец, старик принял решение сужать тот невидимый круг, в который, точно в силки, угодила волчица. Он поднял руку, и в ту же минуту едва различимый всадник с весёлым гиканьем погнался своего гнедого наперерез волчице, отворачивая её от жожака. На мгновение белая припала к земле, она знала, что нельзя ей от серо-голубого, но надвигающийся, как буря, грохот копыт вынудил её рвануть в сторону от него, вложив в этот рывок все силы, поскольку лишь

там, в дымящемся снежной позёмкой голом поле, не видно было человека. И сразу замедлился страшный топот за спиной, утихли крики и свист, и огромными скачками, вытянув напряжённо голову и хвост, всё надавая бегу, вбивая в этот бег все оставшиеся силы, волчица ринулась на чистоту. Она больше не видела серо-голубого, но по мере приближения к большой расщелине, в которой можно было найти убежище, сердце её переполнялось ликующим визгом. Так она совершила первую свою ошибку.

Ей казалось, она ушла, но – что это? – краем глаза она вдруг заметила скачущего во весь опор белого в яблоках, который шёл чуть впереди и будто бы в сторону, и будто бы рядом, но безнадежно перекрывал при этом ту свободную линию, к которой она стремилась, с каждой секундой расширяя свои возможности для манёвра. Старик практически лежал на шее коня, так что рвущаяся на ветру лисья шапка сливалась, смешивалась с грубой лошадиной гривой.

И белая не выдержала и кинулась вбок, оскользнувшись задними лапами и едва удержав равновесие; до желанной расщелины оставалось совсем немного, и если б прибавить ещё, то хватило бы и нескольких сильных прыжков, но человек в лисьей шапке незаметно и уверенно забирал между ней и спасительным убежищем, и она не выдержала и, чуть не упав, кинулась в сторону, к единственно доступной балке, слишком ровной и слишком неглубокой, но другого выбора теперь не было. Впереди она увидела всадника на гнедой лошади, бег лошади был ровным, почти равнодушным, как будто всё уже разрешилось и теперь можно было уже не спешить. Страх пронзил её до кончиков шерсти, которая взмокла и вздыбилась на загривке, а с ним ослабел и дух. Как-то сразу изменили силы, в последнем рывке она истратила их без остатка.

Белая влетела в расщелину и, добежав до середины, припала к земле, уткнув морду с вывалившимся языком в сырую от её дыхания, мёртвую траву в образовавшейся лунке. Она замерла. И взор её неожиданно опрокинулся внутрь, к зародившейся в ней и уже существующей новой жизни, которую необходимо беречь и охранять. Ей почудилось, что всё обошлось: ведь она не видела больше людей. И в овраге кроме неё никого не было.

Они дали ей войти в расщелину и даже перевести дух. Эта белая волчица оказалась тяжёлой, и загон её не сильно расшевелил загонщиков. Когда они появились с противоположных краёв оврага, она их не увидела – так глубоко погрузилось её усталое существо в болезненное прислушивание к движению, понятному ей одной. Под брюхом у неё не успел вытаять снег, когда пронзительные крики подбросили её кверху и вынесли на скользкий кряж, в двух прыжках от которого сошли оба – старик и молодой – с выхваченными из-за поясов длинными, сплетёнными в жгут ременными плетями в руках.

Волчице казалось, что вокруг неё сбился целый табун – грохочущие лошадиные ноги, замесившие в грязь обледеневшую почву, закрыли ей свет. Тяжело метнувшись несколько раз в стороны и осознав, видимо, что выхода нет, белая растерялась и неожиданно легла на землю, поджав хвост, и продолжала вертеть мордой с угрожающим, но ничуть не опасным для врагов оскалом. Она защищалась, но воля к жизни оставила её. И тогда старик отступил немного, предлагая молодому опробовать руку в первом ударе.

Молодой был неопытен, и первый удар пришёлся мимо. Зато второй угодил зверю в плечо. Белая подскочила от боли, завертелась и сразу получила концом плети по ключице, потом – в живот, после чего из её глотки донёсся свистящий хрип. Старик покачал головой, приблизился, взмахнул рукой, крутанул плетью в воздухе и метко вlepил её утяжелённый конец зверю в переносицу.

Волчица беспомощно опрокинулась, перевернулась и зарылась разбитой мордой в снег. Потом она сделала большой вдох и затихла. По белой шкуре размазались алые пятна свежей крови и грязные пятна светло-коричневой земли.

Люди спешили и осмотрели добычу. Волчица не показалась им крупной, какой она выглядела на бегу. Старик посмеивался над молодым, дразнил, вспоминая его промахи. Затем

они вынули ножи, вспороли волчице брюхо и вынули из желудка остатки проглоченной недавно пищи, переложили их в кожаные мешки, а в другие запихнули зародыши волчат и принялись вырезать из пасти синеватый язык, как вдруг внимание их привлёк некий смутный звук. Они выпрямились и прислушались. Молодой беспечно пожал плечами и хотел продолжить дело, но старик удержал его. И тут, будто из самой груди бескрайней степи, едва различимый, но отчетливый, как тонкая чёрная линия по горизонту, исторгся полный какого-то почти человеческого страдания протяжный глухой вой.

– Чон! – крикнул старик простуженным голосом и показал рукой на север.

И, словно спохватившись, они бросили своё занятие, сунули ножи за голенище, запрыгнули в сёдла и помчались в степь на звук, который больше не возобновлялся.

Солнце перевалило за полдень. Погода начинала понемногу портиться, однако было видно, что туман застит не скоро, а значит, и метели надо ждать только к вечеру. И можно успеть.

Им не пришлось его долго искать. Заскочив на край пологого склона, они почти сразу заметили подвижную точку, тёмным пятнышком выделяющуюся на каменистом холме с другого конца долины. Неуверенно переступая лапами по смороженному, хрусткому мху, прыгнув покрытую мелкими льдинками голову книзу, серо-голубой волк исподлобья наблюдал, как, разделившись, оба всадника погнали коней в противоположные стороны, словно уходили восвояси. Он в общем-то понимал, в чём тут дело, и теперь хладнокровно взвешивал силы угонщиков, оценивал выносливость коней и опыт всадников. Он не спешил. Его глаза выражали холод, бесцветный степной холод.

Этим взглядом серо-голубой был обязан матери, которая как-то однажды, когда щенки уже подросли и резвились возле норы, вдруг пристально уставилась на одного из них, худого, со слабыми лапами. И как по сигналу волчата набросились на него и загрызли, а мать тем временем безразлично удалилась в лес.

Некоторое время он нюхал воздух, говоривший ему больше, чем он мог увидеть, потом решительно повернул своё крепкое, стянутое тугими мышцами тело и побежал прочь. Всадники вновь появились в поле зрения лишь тогда, когда он твёрдой, упругой рысью без усталости отмахал добрую пару вёрст. Они возникли, как миражи, по бокам, на расстоянии взгляда друг против друга, и в воздухе снова затрепетали унылые визгливые крики. И тогда старый, как весь волчий мир, глухой и безглазый ужас внезапно поднялся из тёмных глубин, ошпарил мозги и так полоснул по лапам, что серо-голубой очертя голову понёс к той самой балке, в которую заманивал белую. Охваченный этим ужасом, он желал только одного: уйти из виду, унести, скрыть своё такое вдруг огромное тело в самой тесной, самой недоступной яме.

Старик в лисьей шапке заулыбался и перешёл в галоп. Глядя на него, и молодой прибавил ходу, но попридерживал, так чтоб свернуть волка на себя. Однако серо-голубой хотя и отклонил от цели, но в то же время неожиданно рванул ещё сильнее, вынудив и гнедую пойти вскачь. Бесшумно паривший над степью орёл терпеливо наблюдал за тремя фигурами, летящими к точке, в которой им предстояло встретиться. Гонка тянулась безнадежно долго, и старику всё-таки пришлось сбавить бег, чтобы конь мог перевести дух. Сбросил и молодой. Волк опять гнал на балку, мысль о которой волновала томительно остро, как запах.

Самообладание вернулось к нему так же внезапно, как покинуло. Случайной частицей в сумбуре клокочущего ветра, странным, лишним сейчас оттенком то ли запаха, то ли воспоминания вдруг до самого мозжечка пробило бешеное ощущение надвигающейся весны, которая означала хорошую добычу и жизнь. Весна брызнула ему в ноздри. И серо-голубой поочередно скопил глаз на приближающихся врагов. Он остыл и готов был побороться за свою шкуру.

Само собой, люди не знали этого и, уже утомившись и думая, что и волк тоже начинает терять силы, упрямо продолжали гон, стараясь тревожить зверя гиканьем и резкими сближениями и чередуясь в угонках, чтобы выматывать его, а самим отдыхать по возможности. В

какую-то минуту серо-голубой припал к земле, выждал, когда с визгом и посвистом всадники двинули коней на него, и тогда, не успев перевести дух, он рванул вскачь. Он буквально летел длинными, уверенными прыжками, поджимая в воздухе лапы, чтобы сильнее оттолкнуться в новом рывке, держа хвост на отлёте, прижав уши, вытянувшись в струну, и всё набирал, набирал, набирал... И хотя кони устали, удивлённым всадникам тоже пришлось прибавить, чтобы добыча не ушла из виду.

Так продолжалось долго, слишком долго, слишком это всё затянулось, и люди решили кончать. Волк был уже не тот, да и угонщики тоже. Старик больше не улыбался и встревоженно поглядывал на темнеющие небеса.

Когда, казалось бы, клещи должны были вот-вот сомкнуться и отчётливо слышимым сделалось хриплое дыхание наседающих коней, серо-голубой вдруг резко вытянул ноги вперёд и даже перекувырнулся в брызгах подмокшего снега. Белый в яблоках конь с гулким топотом пролетел мимо, и серо-голубой ринулся вбок, оставляя обоих врагов прямо за собой. Теперь все их визги и крики утратили магический смысл, заставлявший волка беспомощно метаться внутри незримого круга, теперь им оставалось только догонять.

Взмокшая шерсть его потемнела и в сгущающихся сумерках приняла почти чёрный окрас; вывалившийся набок язык то и дело подхватывал на бегу грязный снег, от которого не было никакого толку; в глазах плескалась сиреневая муть, но фыркание и грохот копыт позади заставляли лапы работать на полную мощь; и без всякого уж понимания он бежал, чтобы только бежать сквозь несущийся в морду ветер навстречу спасительной темноте или чему там. Однако и людям было не до веселья. От лошадиных тел опасно стелил пар, и не было больше возможности остывать, чередуясь, и жгучая, злая досада незаметно оплетала их сердца.

Он всё же заскочил в балку – не в ту, к которой стремился, более плоскую, открытую – и заскользил по боковым отрогам. Люди держались верхами. Они уже вынули и намотали на кисти длинные ременные плети. Оставалось взять его измором с двух сторон. Когда волк погнал на другую сторону, старик дал по бокам своей белой в яблоках и, опустив руку с плетью, помчался прямо через ложбину наперерез, а молодой, прикинув, где может выскочить зверь, направил лошадь к этому месту. Скопив кровавый глаз на белую в яблоках, серо-голубой сперва дал ходу, вынудив её тоже наддать, а после вильнул круто и пошёл по отрогу наверх. Старик не заметил, как выскочил на подтаявший и подмороженный, припорошенный позёмкою лёд, и, развернув на бегу в сторону зверя, он вдруг увидел, как небо закружилось у него над головой. Конь беспомощно вильнул копытами по льду и грузно упал на бок.

Волк вышел ровно там, где рассчитывал его встретить молодой. Однако гнедая осадила от неожиданности, когда волк выскочил из расщелины прямо ей под ноги, и первый удар тяжёлой плети взметнул комья заснеженной земли прямо перед мордой тоже отпрянувшего зверя. Вместо того чтобы бежать, серо-голубой вдруг повернулся кругом и нырнул гнедой под брюхо. Лошадь захрипела и, казалось, запуталась в собственном топоте – её силы были на исходе. В ту же минуту страшный удар по боку перебросил волка назад. Он не почувствовал боли, одно удивление, которое мгновенно перешло в ярость, и тогда, подобравшись, на последнем дыхании, свернув в прыжке голову набок и едва не откусив собственный свой язык, серо-голубой саданул гнедой точно под самое горло. Ещё два страшных удара обрушились на его тело, прибавив книзу, прежде чем измученная, стремительно теряющая остатки сознания лошадь не припала, хрипя, сперва на колени, а после осела на все четыре ноги, да так и замерла. Они оказались друг против друга, и, когда человек замахнулся, волк теперь уже легко бросил своё словно бы невесомое тело вперёд и впился свирепым оскалом в руку, державшую плеть. На какой-то миг глаза их пересеклись. Но уже через секунду серо-голубой плавно уходил в степь, а выехавший из оврага старик, потерявший внизу свою лисью шапку, перевязывал рану молодому, ругался и грозил кулаком в ледяную темноту, в которой растворился волк.

Глубокой ночью к растерзанным останкам белой волчицы из тьмы выпрыгнул серо-голубой. Прихрамывая, он обошёл их несколько раз, молча, сосредоточенно обнюхивая, лизнул остывшую кровь, потом повернул голову в направлении, откуда пришли люди, наставив туда холодный, как степь, внимательный взгляд своих посечённых, мерцающих оловянным блеском, раскосых глаз, и некоторое время стоял так без движения. Потом развернулся и посеменил назад в темноту, не оглядываясь.

Погода улеглась, и промытое бархатисто-чёрное небо безмятежно сверкало всеми своими звёздами, словно хотело подсветить ему дорогу.

Джунгарские ворота

По заснеженному склону табуном понеслись тени от облаков, разорванных когтями наступающих отовсюду горных вершин. Солнце померкло за сизой дымкой и теперь проглядывало сквозь неё смутным белёсым пятном, однако самые отдалённые пики гор ещё сверкали в его лучах, подобно клинкам из дамасской стали. Воздух сделался сухим и жгучим. Но ветер ибэ пока не начинал свою безумную пляску, и оттого вокруг установился мёртвый, тревожный покой.

Подмяв под себя ногу, старый монгол неподвижно замер в седле. После степей с их плоскими холмами, после поющих песков кераитов горы показались ему настоящим чудом. Он никогда не видел таких огромных, заслоняющих полнеба вершин, но ему о них много рассказывали.

Говорили также о живущих в этих ущельях людях со змеиной кожей, образующей панцирь, вроде доспехов, которые умели исчезать в воздухе вместе с туманом и возникать из ниоткуда. Кто-то слышал ещё, что они способны летать над землёй, точно летучие мыши, и могут драться не только руками, но и ногами, удерживая лук руками, а меч ногами, и что вместо лиц у них пёсьи морды, как у северных людей, живущих сразу после земель меркитов. Люди эти ломали горы, если хотели помешать продвижению неприятеля, чтобы горы заваливали пути. Говорили они друг с другом без слов, а с чужими не говорили вовсе. И не знали коней...

Всякое может быть на этом свете. Хотелось бы ему повстречать этих странных людей. Разве можно не верить видевшим их воочию?

Подёргивая широкими ноздрями, старик осторожно втянул в себя незнакомый ему, острый горный воздух, прислушался. Лёгкие струи вскружили голову, заполнили неслышимым шёпотом тонкий слух, которым так щедро одаривает своих детей дикая природа. Что-то подсказывало ему, что в этих суровых, седых краях водятся кабаны и волки, и какие-то неведомые джейраны, с проворством белки скачущие по камням, и барсы. Покрытые вымороженными травами тугие холмы тёмной сине-зелёной лавиной катились вниз, толкались, путались, наполняли друг на друга, переплетались, точно хотели этого падения в чёрный зев пропасти.

Должно быть, трудная здесь охота, подумал старик. Вряд ли облава будет удачной. Слишком много ходов и скрытых лазеек, непонятная сторона. Всаднику не развернуться, не взять зверя в клещи, как делают это монголы в бою. Что может быть лучше зимних степей, когда целая армия безоружных воинов неделями гонит стада добычи к намеченному ханом месту, где тот решает начать охоту и первым убивает зверя, которого сам выберет. Эти костры на дозорах, эти взмыленные лица, визгливые крики нукеров, летящие всадники, управляемые звериным чутьём и тонким расчётом каана, обречённый бег разъярённых животных, этот смех и алая кровь добычи, размазанная по щекам... Один учёный китаец сказал красивые слова, похвалив охоту якка-монголов: старику понравилось, но он не запомнил слов... А в таких высоких горах облава не может быть долгой, тут главное – меткий удар стрелы и хорошая, умная засада. Воинам нечему поучиться.

Он удивился, что эта самая мысль об охоте не произвела в нём душевного трепета, какой возникал от одного только вида волчьей шкуры или медвежьих клыков на копье шамана. Он думал об охоте спокойно, расчётливо, холодно оценивая возможности загонщиков в незнакомых условиях. Скорее воспоминание о далёкой степи разбередило чувства и вызвало приступ тоскливого оцепенения в сердце. И это тоже удивило его.

Задул тревожный, сырой ветер, и сразу тени по склонам замерли, будто примёрзли, и сделались гуще. Понеслась слабая позёмка. Казалось, берёзы и осины плотнее прижались к каменным бокам.

Как же раньше не встречал он таких гор? Таких больших. Белых, синих. Похожих на клыки тигра. Откуда они? Кто их придумал? Зачем? Почему они смотрят на него с презрением? Может, они вообще не видят его?

А если горы и вовсе закроют небо, как молиться богу Тенгри? Как взойти на эти вершины, чтобы попросить у Тенгри успеха и справедливости? Оттуда он услышит каждое слово, даже если сказать шёпотом. Но как попасть туда? С каким словом обратиться к небу, если отовсюду хладнокровно, безразлично глядят на тебя вечные каменные исполины?

И что за шкура у них! Белый барс не имеет такой, чтобы искрилась на солнце, сияющем над облаками. Что за наваждение! Словно кто-то покрыл белой шкурой клыки тигра, убитого Тенгри...

А если горы и вовсе закроют небо?

Эта мысль ввергла его в смятение.

Порывистым движением он запахнул свою старую, засаленную доху с торчащими в разные стороны слипшимися клочьями медвежьего меха. Из-под увенчанной кожаным шлемом шапки с косматыми наушниками, со свисающими на плечи чёрными лисьими хвостами выбилась седая коса: старик не отличался опрятностью. Покрытое бараньим жиром, плоское, грубой лепки серо-коричневое лицо выражало печальную задумчивость, словно опять наплыли воспоминания и опять всё то же: мать, холод, степь, братья, пыль, кибитки, сражение, широкая белая юрта с откиннутым пологом, за которым горит огонь. Незаметно для себя старик замычал мотив старой монгольской песни, которую знал с детских лет. Ох уж эти воспоминания, от них только муть в голове и никакого проку... Но если они приходили, он безжалостно гнал их прочь. Что-то мешало ему, томило, маяло, что-то было не так.

Впервые за всю свою длинную жизнь, глядя на эти сверкающие вершины, столпившиеся у подножия неба, он почувствовал себя слабым. Он не привык, чтобы так мало было неба.

Старик ссутулился, потемнел. Да, у него было крепкое, послушное, крупное, жилистое тело, широкая шея, сильные руки и плечи, мягкая и вместе тяжёлая тигриная походка; рядом с цзиньскими вельможами, обленившимися ханами, арабскими купцами, рядом даже с иными из своих сыновей, которые с трудом зачастую удерживались в седле из-за тяги к перебродившему кумысу, старик смотрелся ловким, умелым, полным сил и уверенности в себе. На охоте он не уступал молодым, на полном скаку метко стрелял из лука, попадал в голову зайца с пятидесяти шагов и не любил, если ему потакали; волчьим тропотом пересекал пустыни, питаясь одним сушёным мясом и тёплой кровью коня. Он вообще ел то, что придётся, что исстари ели все монголы: барана, лису, кабана, волка, собаку, сурка, мышь, мог бы и человечину, будь к тому великая нужда. И никогда, никогда старик не задумывался о бренности своей, как не думают об этом живущие рядом звери, пока не вышел к проклятому перевалу.

Они были близки ему, эти горы, близки по духу, такие же упорные и безжалостные, они стояли против него в спокойной полноте бесконечного своего могущества, которое сильнее копыта, палицы, яда, атаки и даже слова, и им не было до него дела, как не бывает дела до мошки, которая к утру незаметно умрёт и высохнет.

Но был ли он равным им? Мог бросить им вызов, слабый человек?

Что ты, брат мой?.. Пыль, развеянная по ветру, добыча диких собак.

Словно войско, замершее в ожидании приказа... нет – нойоны, окружившие вон того, наиболее могучего среди них хана, плечи которого подпирали небо, они выстроились против него, готовые дать сражение; их белые шлемы, усыпанные огромными, как скалы, алмазами, как будто склонялись к нему, чтобы поближе рассмотреть своего ничтожного противника.

В голове старика помутилось, ему почудилось, что всё, что ни было вокруг, угрожающе придвинулось к нему, воздух сгустился, в непроницаемых, косопрорезанных, скрытых под вспученными веками глазах его мгновение полыхнуло тёмным страхом загнанного зверя. Отдалёнными раскатами до слуха докатились тяжёлые судороги нечеловеческого смеха, чем-

то напоминающие ритмичные бубны шамана. На задубевшем лице старика не дрогнул ни один мускул – оно точно срослось с маской сурового бездушия, на которой даже морщины за долгие годы сплелись в узор грозный и беспощадный, – но сердце его наполнилось тревожным предчувствием.

Он качнулся в седле – голова пошла кругом. В нарастающем топоте многих тысяч копыт, несущихся на него отовсюду, он различил чугунный хохот неведомого врага и увидел серебряную звезду, бьющую прямо в лицо. От неё невозможно было отвернуть взгляд, и свет её был нестерпимым. Лава шла на него, лава. Тёмная, непонятная.

Старик закрыл глаза. Бескрайний, пустой, белый ужас мягко накрыл его своим шёлковым крылом. Подобно широкой волне, ужас плескался в его глазах, разбежался кругами, заливал дыхание, закупоривал слух, словно весь мир двинулся на него войной, и тогда ровно бьющееся сердце старика сжалось, будто кулак, и он отчётливо понял, что готов бежать, бежать куда глаза глядят, спасти своё брренное тело. Доблесть отступила. Это было так необычно, что он обнял этот ужас, крепко прижал к груди, впился губами в его дыхание и стал пить, подобно тому, как пьют дряхлеющие старики тепло юных наложниц, чтобы понять свои силы. И тогда враждебный, как тьма, безотчётный ужас тихо перегорел в ужас смерти.

И всё похолодело внутри. И этот ужас не имел облика, запаха, цвета. Больше не надо было бежать, не надо спасаться. Некуда было бежать и негде укрыть своё тело. И только одна мысль пустым стуком колотила в виски: всё конечно, всё конечно на этой земле, и, значит, однажды умрёт и он. Он воспринял эту мысль с совершенно детским недоверием. Как? Когда? Где? Что будет? Ведь дети знают, но не задумываются. Они дают жуков, смотрят на погибшую птицу, сидят на поминках старших родственников. Но действие это не относится к ним самим. Они попросту не могут представить себя такими же бездыханными, мёртвыми и оттого продолжают спокойно жить, имея огромный запас времени на то, чтобы когда-нибудь подумать и об этом и, может быть, даже как-то избежать... И тот, кто сеет смерть, сам часто ничего о ней не знает и не верит в неё. Он задумался. Но увидел только пустыню с перекасти-поле. И ничего больше.

Потрясённый, он открыл глаза. Всё было так, как должно быть. Наваждение схлынуло. Стылое, гулкое пространство предгорий, уходящее к далёким хребтам, оставалось покойным и недвижимым. Солнце скрылось, выкрасив щёки скал в розовый цвет. Ни звука, ни шороха, ничего. Его конь мирно щипал мёрзлую траву. Старик почувствовал, как задрожали его ноздри. Он был один. Совершенно один. Один в этом огромном, пустом мире.

Нет, пустынность не подавляла его, он любил простор земной и небесный, рождающий пьяную радость свободы и лёгкость сил, но пустынность не означала одиночества, подобного чёрному клейму изгнанника.

Должно быть, именно так выглядит смерть, подумал он.

Старик опустил плечи, сник и как-то сразу одряхлел внешне, непроницаемое лицо его уставилось ввысь, на исчезающий солнечный свет, а внутри всё исходило злым, испуганным, протестующим стоном. Он поднял ставшую неожиданно лёгкой руку, чтобы заслониться от света, как вдруг холодное солнце сверкнуло прощальным лучом и окончательно скрылось за плотной завесой облаков, и тогда он принялся разглядывать свою руку. Она показалась ему слишком немощной, старческой, вся в выпирающих фиолетовых жилах и в пятнах, как у покойника. Он сощурил глаза и втянул в себя воздух.

Отсутствие живности в пространстве взгляда – хотя бы птицы, хотя бы следа на земле – было ему неприятно, мешало встряхнуться, взять за кадык свою ослабевшую волю. И тишина глухо давила на слух. Поэтому, когда издали, из самых недр мерцающего тёмной синевой, бездонного ущелья донёсся едва уловимый, но до жути близкий волчий вой, старик вскинулся, глаза его блеснули хищным огнём, пальцы вцепились в гриву коня. Он выпростал из-под себя заляпанный бараньим салом войлочный сапог, решительно впихнул ногу в стремя, приподнялся над деревянным седлом, задрал голову, вытянул шею и, наморщив нос, тонко завыл вол-

ком, как на звук родной отвечая близкому по духу существу. Вой получился хотя и продолжительный, и тоскливый, но слабый, и вряд ли его услышал далёкий разбойник. Но с сердца будто схлынула убийственная одурь.

Как шуба с плеч, упали на землю сумерки. Зябко прижимаясь друг к другу, потемневшие деревья всё карабкались к исчезнувшим в грязном тумане вершинам. Но обезглавленные горы были похожи на объевшихся ханов. Им было всё равно.

Посыпал мелкий, сырой снег. Опускаясь на гриву коня, он сразу таял, и вскоре всё вокруг стало мокрым и серым.

– Да, вот ещё что... – сказал старик сиплым, гортанным голосом и умолк, не договорив. Отведённый в сторону вытянутый палец так и замер в воздухе. Старик забыл, что хотел сказать.

Палец заметно дрожал на весу, он был кривой, с распухшими суставами, он словно бы говорил: я устал, изнемог, я не помню. За ним, вознесённым над примыкающей к перевалу бескрайней равниной, высился шест с белым знаменем, со свисающими с него мокрыми хвостами яков числом девять. Под знаменем в два ряда выставились тридцать человек нойонов – поджарых, крепких воинов, одетых хоть и неряшливо, но богато, с огромным количеством золотых и серебряных украшений на шлемах, поясах, сбруях, оружии. Тулуй, сын вождя, алмазами выложил голенища своих сапог, а пряжку на кушаке – сверкающими разноцветными камнями величиной с лошадиный глаз, – рядом с ними старик выглядел нищим. Они стояли молча, неподвижно, только пар бежал из плоских ноздрей, и все глядели на дрожащий палец старика.

А дальше, за плечами нойонов, сколько хватало глаз, по всему пространству обледенелой равнины, вплоть до теряющейся в заснеженных сумерках смутной линии горизонта, в боевом строю без движения замерли в ожидании на замерших своих лошадях сотни, тысячи, десятки тысяч, тумены и тьмы вооружённых монголов, готовых в любую минуту единой массой двинуть туда, куда укажет этот кривой палец, расслабленно висающий над их шлемами.

Было слышно, как шуршит падающий снег.

Старик вздохнул, опустил руку и закашлялся. Он так и не вспомнил, что хотел сказать.

Высокий, худой всадник, одетый в простую доху, без доспехов, в войлочной шапке с наушниками, ударил в бока своей пегой лошади, выехал из первого ряда нойонов и приблизился к старику. Это был пленённый когда-то, во время взятия Чжунду, помилованный и вознесённый затем в первые советники кидань Елюй Чу-цай. Он остановился в двух шагах от сгорбленной фигуры. Не оборачиваясь, старик сказал, указывая наверх, и голос его прозвучал глухо и мрачно:

– Горы – это не Тенгри. Горы можно сломать. Но если горы живут вечность, то почему человек не живет вечно?

Казалось, Елюй Чу-цай сосредоточенно осмысливал сказанное, поглаживая свою длинную жидкую бороду. Во всяком случае, ответ его прозвучал спустя долгое время:

– Я полагаю, божественный Тенгри уже придумал для своего любимого сына ту судьбу, которой он останется доволен.

На лице старика промелькнула кривая усмешка: ответ удовлетворил его. Что, если и он станет одной из этих гор, самой высокой?

И всё-таки он устал. Позади по всему раскинутому вширь простору, подобно убегающей вдаль степи, тянулись шлемы, одни неподвижные кожаные шлемы. Он знал им цену. Он умел собрать их в свой пусть и старый, но по-прежнему сильный кулак и кинуть во врага, как кидают камень. Но почему он устал? Неужто ему хотелось слезть с коня, уйти в юрту и лежать на войлоке, попивая арьян и наслаждаясь молодостью жён? Конечно нет. Меньше всего он думал о таком. Не вовремя это, совсем не вовремя. И лишь горячее чувство мести возвращало ему желание действовать, приказывать, убивать, жить. Оно, как ожог, напоминало ему о себе... Иначе что делать с этой силой?

– Я бы хотел говорить с небом, – сказал он, задрав подбородок. – Но надо обернуться птицей, чтобы приблизиться к нему.

– Небо само говорит с тобой, пока ты ведёшь войну, – заметил лукавый кидань.

«Не я веду войну, – печально подумал старик, – а война ведёт меня...»

Он нахмурился. И если бы Елюй Чу-цай увидел его лицо в эту минуту, то испугался бы. Старик не всегда успевал осмысливать свои порывы. Но в этот раз он просто собирался с силами. Наконец, он втянул в лёгкие воздух и сказал твёрдым голосом:

– Да, настала счастливая луна.

Елюй Чу-цай согласно склонил голову.

– Я был прав, – сказал старик и указал хлыстом в чёрный зев ущелья. – Мы пойдём здесь.

Елюй Чу-цай поспешно согласился:

– Разведчики говорили, что проход опасен, но, как ты верно решил, переход займёт пять-шесть лошадей, и, главное, наше появление с той стороны непроходимых гор будет неожиданностью для подлых хорезмитов.

Старик молчал долго. Потом сказал:

– Вот ты умный. Мы старые товарищи. Тебе не нужна война. Ты не любишь охотиться. Ты только глядишь в свои свитки. Что там есть, кроме нарисованных крючочков? Не берёшь добычу. Одет даже как пастух.

– Я простой человек, великий хан, – ответил Елюй Чу-цай.

– И что?

– Мне мало этой добычи, и поэтому я не беру её.

– Как это «мало добычи»? Возьми больше!

– Когда не можешь взять всё, не надо ничего. Вот моя беда.

– Если бы я понимал тебя, кидань.

– Скорее, мой разум не достиг твоей мудрости, – улыбнулся советник. – Я лишь хочу понять то, что тебе уже давно понятно.

Старик повернул к нему свое потемневшее лицо.

– Тогда знай, хитрый кидань, – тихо прохрипел он, – что не я веду войну, а война ведёт меня.

Елюй Чу-цай поймал страшный взгляд старика и, испуганный, спешно прижался лбом к голове коня.

Старик оглядел своё окаменевшее войско, поднял хлыст и направил его вперёд.

– Кхэй! – проревел он неожиданно окрепшим голосом.

И вся огромная масса монголов разом сдвинулась с места и с грохотом покатила серой лавой в ущелье, по которому вовсю уже свистал ветер ибэ.

Дети новолуния

И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло.
Откровение Иоанна Богослова, 21: 1–4

Достиг я высшей власти.
А.С. Пушкин. Борис Годунов

1

Глубокой ночью, задолго до наступления часа тигра, сбитые посредине широкого загона в плотное стадо овцы забеспокоились. То ли запах, то ли звук, но что-то определённо враждебное подняло на ноги крайних и заставило напряжённо вслушиваться в бездонное дыхание обледенелой степи. В кратком их перханье слышалась недоуменная встревоженность. Как будто им самим было странно, откуда взялось зыбкое чувство тревоги в таком неподвижном, таком умиротворяюще покойном свете огромной луны. Ведь луна – это настоящий друг для пугливых овец, сторонящихся каждой тени.

Под мертвенным лунным светом голубели две бедные юрты пастухов-кочевников. Из одной ещё струился слабый дым, но все обитатели их уже уснули. Прежде чем завалиться на кошму, мужчины долго обсуждали события прошедшего дня, прихлёбывая хмельной кумыс из деревянных плошек. С приходом поздней весны забот поприбавилось, пора было решать, куда кочевать в поисках свежей травы. Животные отощали и издыхали от голода прямо на глазах: неожиданно замирали на месте, потом падали на передние ноги и сонно валились на бок, неестественно запрокинув голову. С утра до вечера взрослые и дети подбирали полуживых коз и овец, подтаскивали их к загону, силой кормили подснежной, мокрой травой и выпускали обратно в стадо. Иных обессиленных ягнят женщины забирали в юрту и отпаивали просяной водой, как малых детей, но зачастую едва окрепший ягнёнок, побывав у человека, уже не мог отыскать свою мать и бывал затоптан равнодушной отарой.

Каждый день начинался с поисков отбившихся от стада животных. Пастух уходил в степь, пока женщины сутились по хозяйству, и к середине дня возвращался, гоня перед собой пяток-другой переживших морозную ночь овец.

Отара не принадлежала пастухам, но они, безродные, помнили, что головой отвечают за неё перед могущественными сероглазыми борджегинами, владеющими миром и сотнями таких отар в придачу, ни один из которых, впрочем, им отродясь не встречался. И потому их собственная жизнь не казалась им слишком надёжным убежищем от неведомых напастей, сокрытых в загадочном небытии, но долг свой они исполняли добросовестно и спокойно, хотя едва управлялись со всё прибывающим поголовьем награбленного скота.

Вряд ли кто из благородных борджегинов знал об их существовании, разве какой-нибудь самый не важный. Приезжавший с завидной регулярностью десятник любил прихвастнуть, что собственными глазами лицезрел главного каана, и утверждал, кстати, что каан видит всю степь насквозь и для него нет секретов даже в самых захудалых краях улуса. Ему верили. Да и как не верить, когда на самом заметном месте его драной дохи болталась деревянная пайцза с таинственными знаками – символ права всё знать и за всё спрашивать. Впрочем, безусловно веря каждому слову десятника, пастухи втайне всё-таки не верили, что великий каан способен разглядеть их ничтожество, особенно по ночам. Ведь даже божественный Тенгри и тот на ночь смыкает свои всевидящие очи.

Десятник осматривал стадо, делая вид, что пересчитывает овечьи головы, но, поскольку считать умел только до десяти, старался оценить сохранность имущества знатных вождей на глазок, а чтоб пастухи не утратили рвения, всякий раз громко и внятно пересказывал им отдельные установления ясы, как то: порча отары, утрата овец или коз по недосмотру ли или по злему умыслу, самовольное употребление мяса в пищу от тех овец, что принадлежали каану и близким его, и много чего другого, за что неизменно следовало одно наказание – смерть. А если кто подавится пищей либо ступит на порог ставки знатного воина, так того надлежит не только зарезать, но прежде протащить под ставкой. Пастухи слушали смиренно, они уже выбрали из своего худого стада наиболее упитанного барана, голова которого будет поднесена десятнику на ужин, а ещё пара других отданы ему в дар и ещё два – его спутникам.

Они давно пережили свой страх. Один был старик, другой хоть и молод, но задубел и покрылся морщинами раннего опыта, третий нашёл свою погибель от рук лихих людей в степи, и труп его разорвали волки. Жёны выезжали на пастбище наравне с мужчинами и не раз вместе с ними отбивали налёты блуждающих шаек, которые были хуже голодных бродячих собак и всех десятников, вместе взятых, с их вечными угрозами и неистощимым аппетитом.

И всё же степь, глубокая, вечная, гулкая степь дышала уже весной, словно мёртвой хваткой вцепившийся в жизнь, настрадавшийся, выздоравливающий человек.

Следом за крайними встревожились и те овцы, что согрелись и мирно спали внутри стада. Через минуту-другую все животные были уже на ногах. Последней поднялась старая овца, дремавшая под навалившимися на неё сородичами в самом центре отары на привязи. Сотни дрожащих ноздрей жадно втягивали вымороженный воздух. Сотни испуганных глаз косили в бездонную пустошь, слившуюся с блистающим крапом звёздного неба. Но – ни запаха, ни тени, ни шороха. Казалось, сама чёрная степь набухла невидимой угрозой, и нависшая над миром луна более не способна была защитить своим оловянным сиянием.

Проснулись и вяло забрехали псы. Отара ждала, и ожидание это было страшнее того, что могло случиться. В робкой тоске съёжились овечьи душонки, и пугливые сердца мелко затрепетали в тёплых тушах. Но вот что-то лопнуло, всклокотало, забило кругом и повлекло куда-то, властно, точно под нож. Всё легче и шире закрутила-завертела стадо слепая паника перед притаившейся повсюду и нигде не отвратимой бедой. Животные разом пришли в лихорадочное движение, оглашая воздух трусливым перханьем. Всё колотила безмерная дрожь. Те, что покрепче, вставали на задние ноги и запрыгивали внутрь, прямо на головы сородичей, выдавливая на край слабаков, которые почти не противились, покорно принимая, видимо, своё положение заслуженным и фатальным. В том, чтобы предельно сжаться в плотную, единоклубную, единоутробную массу, видели, понимали, чувляли они своё спасение, но по отдельности охвачены были одним лишь желанием как можно глубже и надёжней спрятать именно своё неуклюжее, незащищенное, обросшее свалывшейся шерстью тело. Оттого и наседали друг на друга, давились, мучились, топтали упавших, зарывались всё дальше, изо всех сил, выдёргивали головы и страстно нюхали воздух, изнемогая от ужаса и бесплодного ожидания. И лишь в растерянном блеянии ягнят томился жалкий вопрос: *что будет?..*

Ночь угрюмо молчала и глядела на стадо жадным взором.

2

Ранней зимой года белого дракона, приходящегося началом на месяц зул-хиджа года 615-го эры хиджры, когда Иасриб стал убежищем пророку, и соответствующего первому месяцу зимы 1219 года от рождества Спасителя в галилейском Назарете, потрёпанная не столько морозами, сколько сокрушительными атаками буранов орда монгольского каана вывалила из узкой воронки ущелья, отделяющего бывшие земли кара-китаев от владений хорезмшаха, и растеклась по песчаной долине, полной сухих зарослей лоха, тамариска, туранги и тростника. Не

прошло и дня, как вся долина, сколько хватало глаз, покрылась кострами и юртами. Запахло дымом и жареным мясом баранов, птицы, собак, коней – любой живности, отнятой у потрясённых жителей окрестных селений. Во все стороны ушли отряды разведчиков. До Отрара – рукой подать. Но никто и не задумывался, когда продолжится поход, будет ли он долгим, куда поведут их темники. Каан не спешил. Он еще не решил, что делать дальше. Он отдыхал, смотрел на огонь, сосал трубку из бараньей кости, мычал старые песни. Позади была вечность, впереди – тоже вечность. Незачем было спешить.

Через три дня он разбил своё войско на четыре неравные части. Одна двинулась напрямик, чтобы осадить Отрар. Две другие были пущены вверх и вниз по реке с целью обогнуть город с флангов и, если понадобится, вмешаться. Четвёртая часть, состоящая из пяти туменов, осталась стоять в долине и ждать событий. Возглавил её сам каан. Всё его существо – до головокращения, до боли в желудке – пылало одной неуывдаемой жаждой мести.

3

– Чёртов выскочка, тварь, пёс, скользкая гадина – ну какой из него владыка, да к тому же ещё и вселенной? Вселенной! Нет, ты слышишь – вселенной! Не меньше! Ещё немного, и он назначит себя Аллахом!

Распаляясь от собственных слов, Кучулук-хан – наместник хорезмшаха в Халадж-кала – не усидел на месте, вскочил и принялся ходить взад-вперёд между журчащих фонтанов, шлёпая босыми ногами по мраморному полу с мозаикой из разноцветного камня в виде сложного орнамента. Звуки его голоса гулко разносились под куполом дворца.

– Не кощунствуй, мой повелитель, – кротко заметил имам соборной мечети, который намеревался записывать указания хана, но отложил калям в сторону.

– Да разве я кощунствую? Кощунство – это понимать, что гнусный выкормыш Туркан-хатун – дай ей Аллах здоровья – держит за горло всю кипчакскую знать! А ведь именно мы отняли города у кара-китаев, и именно нам он обязан своим возвышением! И что? Я довольствуюсь званием наместника в собственных владениях, читаю хутбу и чеканю монету с именем Ала ад-Дин Мухаммада! Да кем он себя вообразил?

– Скажи, – так же кротко спросил имам, – неужто сейчас время думать об этом?

Но Кучулук-хан не замечал слов имама, ему, как обычно, не требовался слушатель.

– Сперва провозгласил себя Вторым Искандаром, присвоил титул Двурогого. Этого показалось мало, и вот мы стали прославлять его как султана Санджара. Подумать только, великого Санджара! Ты слышал, у него на руке перстень с печатью «Тень Аллаха на Земле»? Я своими глазами видел эту надпись. Так и есть, лопни мои глаза, – тень Аллаха! И куда только смотрит Туркан-хатун, дай Аллах ей долгой жизни? Мать она ему или не мать?

– Туркан-хатун всегда заступалась за наш род.

– Ну да, – недовольно согласился хан, – только вот что делают при дворе шаха наши дети? Их держат там, как заложников, заодно с пленными главарями персов. Он что, не доверяет своим слугам? Тебе известно, что дважды в день они отбивают наубу в двадцать семь литавр палками, украшенными самоцветами, чтобы прославлять нашего владыку вселенной? Как представлю своего мальчика Алтун-Ашука, колотящего в литавры этими самыми палками, у меня понос начинается.

– Успокойся, мой повелитель, не надо чувствам овладевать разумом. Перед нами растёт угроза более опасная.

– Ну ничего, – потрясал руками Кучулук-хан, – скоро ему конец. Падёт на голову хорезмшаха проклятие Всевышнего! Ведь теперь наша гроза вселенной желает стать султаном ислама и всех мусульман. Если бы войско не помёрзло по дороге к Багдаду, кто знает, что было бы с халифом? Шах давно требует власти Сельджука в Багдаде. Но это даже хорошо. Потому

что ан-Насир отказался оглашать во всём халифате хутбу с его именем. Ты понял меня, имам: он отказался. И нам следует этим воспользоваться... Ничего не пиши!

– Я ничего не пишу, – заверил имам и склонил голову. Он ждал момента, чтобы донести до хана свою встревоженность: ночью его разбудил писец, примчавшийся из соседнего города. Имам оставил его дожидаться возле вторых дверей, ведущих во дворец.

Кучулук-хан поёжился, укутался в стёганный халат.

– Что-то ноги у меня замёрзли, – проворчал он и трижды хлопнул в ладони.

Из полумрака прихожей показался слуга.

– Вытащи-ка из постели какую-нибудь девчонку и позови моего сына Кара-Куша, – распорядился хан, усаживаясь в кресло. – А также визира сюда, – крикнул вдогон убегающему слуге.

Спустя минуту в зал впорхнула ещё не остывшая от сна наложница с распущенными волосами, в шёлковой рубашке и тонких шароварах. Имам немедленно уткнул глаза в лист бумаги, как бы не замечая соблазнительную посетительницу. Судя по всему, девушка хорошо знала свою миссию в столь ранний час, поскольку без подсказки подлетела к хану и улеглась перед ним на спину, предварительно обнажив живот.

– Я позвал тебя, уважаемый, достопочтенный ал-Мысри, вот с каким вопросом, – задумчиво продолжил свою речь хан и уложил озябшие ступни на тёплый живот наложницы, – а не пора ли и нам перестать читать хутбу с именем Мухаммада, сына славного Текеша, опозорившего имя своего отца?

Согласный с каждым словом хана, имам молчал, поджав губы. Только бегущая по виску жилка напряжённо подрагивала.

– Ведь, в сущности, хорезмшах удрал в Самарканд, страшась не столько диких кочевников, сколько наших воевод-кипчаков, которые в нынешней ситуации могут повернуть копья против него самого. Уж не знаю, что так напугало нового Искандара, но в одном он прав: многие воспользуются смутой, чтобы вернуть власть над тем, что им и так принадлежит. А кое-кто постарается сыграть и более сложную партию. Надеюсь, ты уже понял, высокочтимый имам, мои намерения?

Имам ал-Мысри собрался с духом, поднял голову и, стараясь не смотреть на безвольно лежавшую под ногами хана девушку, с плохо удерживаемым волнением ответил:

– Конечно, мой хан, твоя прозорливость всегда обгоняла вялый бег времени, и мудрость твоя, присущая лишь тебе одному, неизменно, мой повелитель, защищала... поражала... – Имам запнулся, словно выдохся, и продолжил с отчаянной решимостью: – Но позволь сейчас обратить твой взор на ту опасность, которая вот-вот обрушится на наши головы. Сегодняшней ночью я получил сведения, насторожившие меня. Не просто так хорезмшах побоялся открытой битвы. Возможно, он действительно не видит за собой силы, способной остановить монголов.

– Вот-вот, – подхватил Кучулук-хан, – сейчас самое время отложиться от проклятого Мухаммада. И не только, не только. Теперь это уже полдела... Ты, конечно, знаешь, с каким уважением я отношусь к халифу ан-Насиру и его двору. Так вот, мне бы хотелось, чтобы и ан-Насир испытывал ко мне не менее глубокие чувства. Когда ты был в Багдаде и беседовал с ним, не заметил ли ты, что халиф понимает, что нуждается в надёжном плече на востоке исламского моря?

– Да, мой хан.

– Разве он не видит, что надёжных друзей следует искать среди умных?

– Да, мой хан.

– Нет, имам! – Кучулук-хан приподнялся в кресле и с силой надавил ступнёй на живот девушки, так что та, не смея издать звука, выгнулась от боли. – Нет. Друзей нужно искать среди умных и опасных. После притязаний хорезмшаха это он наверняка понимает. Но ему нужна личная преданность. А нам нужна сила. Потому что только сила – причём чужая – представляет

опасность для его могущества. А в сочетании с умом такая сила способна заставить халифа выглянуть за предел ближнего круга и догадаться, что личная преданность не укроет от всех бед, подстерегающих слабых владык на земле Аллаха. А чтобы увидеть незнакомого друга, прежде надо испугаться и поверить ему.

– Но у нас нет такой силы, мой повелитель, – заметил имам. – Мы располагаем хорошим, надёжным, но всё же таким небольшим войском, даже если заберём в него всех мужчин и подростков из наших селений... И потом, при чём здесь халиф, я не понимаю, когда с севера на нас надвигается настоящая буря?

– Честное слово, иногда мне кажется, что я один такой умный, а кругом меня одни валуны! – Хан вскочил с места, и девушка, не выдержав боли, вывернулась у него из-под ноги. Раздосадованный, он пнул её и крикнул: – Пошла вон, бесстыжая сука! И передай внуху, чтоб влепил тебе десяток палок!

Закрыв лицо руками, наложница кинулась к выходу, где чуть не столкнулась с сыном Кучулук-хана, входящим в покои отца.

– Вот! – рявкнул хан и выбросил указательный палец в сторону сына. – Вот он понимает меня!

– Я только хотел сказать, – пролепетал имам, – что слухи, которые доходят до меня, вызывают опасения.

– Не верь слухам, благочестивый шейх! Чего нам бояться?!

Имам встал на ноги. Измазанные чернилами пальцы теребили калям. Пересохшими губами, сипло, но всё же с твёрдостью в голосе он сказал:

– Послушай, повелитель, я по-прежнему желаю обратить твоё внимание на то, что, может быть, уже через несколько дней мы увидим монгольское войско под стенами нашего города. Они придут с севера. Сегодня ночью ко мне прибежал писец из Карашкента, а это всего в сотне фарсах отсюда. Он принёс страшные вести. Позволь, я позову его, чтобы ты сам услышал о тех, с которыми нам предстоит встретиться. – И, помолчав, потряс головой. – Это не обычные кочевники.

– Пёс с тобой, – согласился хан и запустил пальцы в волосы на груди, – зови своего человека.

Тем временем Кара-Куш приблизился к отцу, поцеловал руку и встал у него за плечом. Имам поклонился и вышел, чтобы вызвать писца.

– Ну вот что, – повернулся хан к сыну, – если наша интрига не даст сбоя, мы обретём блаженство уже на земле. Подняться так высоко... дух захватывает! Надо использовать роковые события в своих целях. Так поступает мудрый! Ты отправил посыльного в Ургенч?

– Только вчера.

– Хорошо. А в Самарканд?

– И в Самарканд, и в Герат, и в Бухару, и в Мерв. Всего десять городов, как ты приказал. Все они вызубрили имена людей, с которыми им надлежит встретиться, и, конечно, знаки. Я проверил, и не раз.

– Хорошо, Кара-Куш, я в тебе не ошибся. Главное – подловить Мухаммада в той норе, которую он выберет. Это хитрая лиса.

– Нам помогут верные люди. Уже сегодня из Самарканда прискакал гонец и сказал, что хорезмшах там.

– Замечательно. Пусть готовится в обратный путь. Я напишу шаху послание, постараюсь заверить его в своей преданности. Пусть считает меня братом.

– Ещё неизвестно, кто из вас большая лиса, – засмеялся Кара-Куш.

– Если руками монголов удастся свалить Мухаммада и приблизиться к халифату, у ан-Насира не останется сомнений, на чьё плечо ему опереться. Эта паутина нигде не порвётся, ибо никто из наших друзей ничего не знает о других и доверяет мне одному.

– Но к монголам перешли уже многие... причём вместе с войском...

– Да, но никто из них, сын мой, не выточил ключей, бескровно отпирающих города Хорезма вплоть до самых границ с халифатом. Все они что-то значат, пока не сдали врагу свои крепости, а после... Не думаю, что у монгольского хана другое мнение.

В дверях появился имам. За ним, судя по всему, писец, который немедленно упал на четвереньки и пополз через весь зал к ногам владыки. Его маленькая голова на жилистой, сморщенной, как у черепахи, шее вытянулась к завернутым кверху мыскам шлепанец хана и припала к ним.

– Ну ладно, хватит, – сказал Кучулук-хан, – встань и говори.

Слуги внесли и установили перед диваном, на котором разлёгся хан с сыном, подносы с чаем и сладостями. Хан жестом предложил имаму угощаться, но тот вежливо отказался и стоя замер позади. Немолодой писец, измученный, заросший щетиной, со свежим следом плети на лице, нерешительно поднялся с колен.

– Досточтимый имам ал-Мысри сказал, что ты примчался из Карашкента?

– Да, это так, великолепный, – ответил писец почти шёпотом.

– Говори громче.

– Прости, у меня сорван голос... – Он метнул взгляд на имама, который адресовал ему успокоительный жест. – Но я постараюсь.

– Что теперь с Карашкентом – после прихода кочевников?

Писец развёл руками: так, словно отчаялся найти пропажу.

– Поверишь ли, великолепный, что Карашкента больше не существует. Стены разрушены, а что ещё стоит, то объято пожаром. Город доблестно сражался, но долгая осада и великое множество неверных – всё это превзошло человеческие возможности. И Карашкент пал.

Хану показалось, что от выбранной им позы немеет нога, он повернулся на другой бок и понял, что это ему только показалось. Нахмутив брови, он спросил:

– Но кто они такие, эти самые монголы?

Голос его звонко разлетелся по залу, между тем как к напряжённому полушёпоту писца приходилось прислушиваться. На лице писца проступил ужас.

– Не знаю, – ответил он, – в жизни мне не доводилось встречать таких людей... Да и люди ли они?

– Не понимаю тебя.

– Они пришли откуда-то с севера... возникли внезапно... низкие, грязные, крепкие.

– И что?

– Понимаешь, владыка, в них есть нечто такое, что неподвластно разумению, данному нам Аллахом. Ведь если кто побеждает в битве, у того хотя бы глаза горят. А тут... Когда они вошли, когда закончились уличные схватки, то оставшимся в живых – всем, до последнего младенца! – велено было покинуть убежище и выйти наружу. И вот, без обычных в таких случаях склок, они вынесли и тут же поделили между собой добычу, а тех, кто побогаче, резали на куски прямо на месте, допытываясь, где спрятаны их сокровища. Тем, кто сопротивлялся им, вскрыли животы, а затем уничтожили их семьи, близких, приспешников, друзей, вплоть до грудного ребёнка и последнего слуги. Верить ли, где было народу много тысяч, без преувеличения не осталось и сотни. Но самое страшное, что всё это они проделывают так буднично, бесстрастно, словно повинуются какому-то лишь им доступному повелению, как если торговец раскладывает свой товар перед лавкой или писец очиняет калям. Они не боятся боли, им нет дела до страданий тех, кто не монгол. Они ценят умение ремесленников, которые им полезны, но ровно до тех пор, пока нужда в них не отпадёт, и тогда убивают их, как и любых других, чтобы не было нужды делиться с ними пусть даже горстью награбленного зерна. Они ведут счёт каждому пленнику и любят укладывать мертвецов в аккуратные горы – детей, мужчин, женщин. Они вообще... аккуратны в этих делах. А женщин насилуют прямо на глазах у мужей,

да, впрочем, у всех людей, как если бы дело происходило перед стадом овец, которых потом режут, чтобы уменьшить поголовье... И если мы люди, а они за людей нас не держат, то кто тогда они сами?

В наступившей тишине никто не обратил внимания на появление в дверях вызванного ханом визира, который, многократно кланяясь, прошёл несколько шагов внутрь зала и замер в почтительной позе. Хан задумчиво ковырял длинными ногтями сушёные фрукты. Чай остыл.

– Ты красноречив, писец, у тебя красивая речь. Должно быть, окончил медресе? – наконец проговорил он. – Кровь стынет в жилах от твоих сказок. Но каков боевой пыл у монголов?

– Их так много, великолепный, что им безразличны собственные жертвы. Поэтому они идут до конца.

– У страха глаза велики! – вскинулся Кара-Куш. – Можно подумать, что это войско самого шайтана, а не свора грязных кочевников, которые расплодились, как саранча, в какой-то заросшей степи! Тебя послушать, так они ничего не боятся!

– Больше всего они боятся своего хана, – склонил голову писец. – Другого страха у них я не увидел. Но хана своего они боятся так, как самый низкий раб не боится своего хозяина. Имя ему – хан всех монголов.

– Ну а сам-то ты видел его? Собственными глазами?

– Совсем недолго. Издали.

– И каков он собой?

– Большой... В золотом шлеме на голове с султаном из перьев райских птиц. Сильный... Одного его взгляда довольно, чтоб загорелись поля... Я видел его издали.

– Ага! – Кучулук-хан увидел визира. – Вот и дорогой Элькутур пожаловал! Хвала Аллаху, вино не выбило тебя из седла! Слышал ты этого писца?

Визир кивнул.

– А не кажется ли тебе, хм, что перед нами обыкновенный лазутчик, которого монгольский хан послал, чтобы вселить в нас трепет?

Визир опять кивнул.

– Вот что! – Он хлопнул в ладони и, дождавшись появления двух стражников, велел: – Доставьте-ка этого красавца в зиндан. Я поговорю с ним позже. – И, повернувшись к онемевшему писцу, бросил: – Когда тебе выкрутят яйца лозой и вырвут ногти, мы узнаем, что ты ещё вспомнишь интересного.

– Великолепный... – только и вымолвил писец, уводимый стражниками.

Вытирая платком взмокший лоб, имам выступил вперёд.

– Прости, мой повелитель, – произнёс он, задыхаясь, – но это несправедливо. Я хорошо знаю этого человека. Он служит в медресе Карашкента и пользуется уважением духовенства. Он пришёл ко мне, и это я позвал его сюда. Какой он лазутчик?.. Прошу тебя... Это несправедливо.

– А кто сказал, что мне нужна справедливость? – усмехнулся хан, но по тому, как дёргалось у него веко, было видно, что усмешка получилась напряжённой. – Скажи, Элькутур, что нового слышно об этом хане северных дикарей?

Всю ночь прокувыркавшийся в гареме и потому изнывающий от головной боли визир кашлянул и ответил:

– Всё то же. Свиреп. Мне подтвердили, что в Отраре Ианал-хану в глаза и уши залили расплавленное серебро, и хан самолично наблюдал за казнью.

– Ну, это мы и без тебя знаем. Зачем Ианал-хан перебил караван, который монгольский хан отправил шаху? Это месть.

– Ещё он разрушил Карашкент.

– Только что об этом говорил писец.

– Прости, я пришёл позже.

– Ладно. Какие подробности?

– Чтобы войти в город, забросал ров телами пленных и по ним уже провёл конницу...

– Довольно!

– Видишь, – вмешался имам, – писец не врал. Отпусти его.

– Я сам знаю, что мне делать! – Кучулук-хан почесал бороду. – Странный он, этот дикий хан... Зачем столько бессмысленных жертв и разрушений? Похоже, он очень мстительный и не прощает обид. Сколь же глуп оказался хорезмшах, когда обрил бороды двум послам монгольского хана и в таком виде отправил их назад! Думал ли он, чем это обернется? – Он хохотнул было, но смех получился невеселый.

– Вряд ли, – заметил имам с плохо скрываемой язвительностью.

Визир изобразил на лице кислотоватую готовность поддержать смех и вдруг сказал:

– Ураган какой-то. – И, спохватившись, поспешно добавил: – Гарнизон мы укрепили. Фуража в достатке. Еды хватит на месяц, может, полтора. Люди готовы биться до конца. Мы выдержим.

– Да, до конца! – поддержал его Кара-Куш, мечтавший наконец испробовать в деле личный отряд молодых всадников.

Кучулук-хан поморщился:

– Собственно, я созвал вас здесь, правоверные, чтобы огласить своё решение. – Хан принялся ходить по залу, обмакивая руки в фонтаны. – Тебе, ал-Мысри, надлежит проследить, чтобы с сегодняшнего вечера не читать отныне хутбу с именем Ала ад-Дин Мухаммада и оставить лишь моё и халифа ан-Насира.

Имам чинно поклонился.

– А тебе, визир, изъять из обращения монету с именем хорезмшаха и немедля чеканить монету с именем Кучулук-хана. А те монеты, что содержат имя Мухаммада, переплавить на новые. Понятно?

Визир поклонился трижды.

– А теперь иди, Элькутур.

– Забыл сказать, мой хан, – задержался визир, – в некоторых селениях люди видели незнакомых всадников. Два, три. Они наблюдали. Потом ушли. Это всё.

Визир удалился. Нависло угрюмое молчание, в течение которого хан продолжал баловаться с водой, а Кара-Куш ел финики. Наконец, имам воздел руки кверху и тихо сказал:

– Но ведь это заговор.

– Да, – просто ответил хан и рассмеялся, на сей раз непринуждённо. – И что? Первый в твоей жизни? Всё стоит золота, и каждый волен продаться, если цена не выше стоимости его жизни. Надо подготовить два послания. Одно – хану монгольскому. Это сделает Кара-Куш. А другое – в Багдад халифу ан-Насиру. В нём следует сообщить о наших переменах, а также о том, что владыка Халадж-кала Кучулук-хан идет на хорезмшаха войной вместе с монгольским ханом, который доверяет ему и слушает его советы.

– Будет исполнено, – осипшим голосом сказал имам и, покачав головой, еле слышно добавил: – Время ли теперь чеканить монеты?..

– Халиф вынужден будет поверить тому, кто отведёт таран от ворот, ведущих в его владения, – хан сделал паузу, – либо для того, чтобы избежать удара, либо – чтобы удар усилить. – Он подошёл к имаму и тронул его за худое плечо. – Вот она, наша сила, имам, сила неверных, которая, конечно, сама иссякнет, и очень скоро. Дикие орды кочевников не любят жары. У них короткое дыхание. Ну, погуляют, пограбят и – назад, обратно. А там, глядишь, выпадет случай – и поможем им воротиться в степь. Головы их вождей недорого стоят.

– Ты затеял опасную игру. Не представляю, как можно договориться с монголами.

– Можно, – устало махнул рукой хан. – Не забывай, что это просто кочевники – да, сильные, страшные, злые, но – кочевники. Дикие орды неверных. Где им понять тонкость хорезмской интриги.

– Ты не услышал, мой хан, – вздохнул ал-Мысри. – Ты не услышал.

Когда имам ушёл, Кучулук-хан обратился к Кара-Кушу, ловившему каждое слово отца:

– Ну вот, ты понял? Пути назад нет. Монгол не тронет нас, потому что только мы можем подать известный нам знак, чтобы наши люди... люди, которых мы купили дорого, открыли ворота неприступных крепостей. А халиф будет думать, что вместе с монголами мы ведём войну против Мухаммада, и, конечно, начнёт опасаться, как бы эта война не перекинулась к нему. Волей Аллаха победит умный, опасный и сильный... А теперь иди, сын. Времени у нас мало. Желаю увидеть послание к хану монголов уже сегодня.

Кара-Куш поцеловал отца и пошёл к выходу походкой крепкого, молодого самца.

– Нам надо успеть, – вдруг сказал хан.

– Что? – не понял Кара-Куш.

– Просто... Нам надо успеть.

Оставшись в одиночестве, хан некоторое время неподвижно полулежал на диване, уставив взгляд в одну точку. Потом он встрепенулся, точно стряхнул с себя тяжкое наваждение, и встал. Снаружи доносился мирный гул улицы, прорезаемый криками бродячих торговцев. Из глубин дворца текло сладкое пение наложниц. Журчали фонтаны. Попискивали птицы в золочёных клетках. Хан накинул на себя парчовый халат и босой вышел на террасу, вознесённую над городом. Камни пола уже достаточно нагрелись на солнце, но пока не обжигали пятки. Он неспешно направился к парапету, слушая, как постепенно нарастает шум базарной площади. Ясный небосвод расплывался в глазах радужными кругами, и казалось, солнце, будто цыплёнок, ласково трётся о щеки. С каждым шагом он чувствовал, как всё сильнее им овладевает приятная истома: край парапета сонно покачивался впереди в ритм с лёгкой шёлковой занавеской над входом в покои жён. Хан подошёл к краю и глянул вниз.

В пёстрой толчее небольшой рыночной площади, зажатой между стенами дворца и мечетью, то там, то тут вздымались выплесками разноцветные полотна шёлковых тканей, мелькали-перемешивались платки, тюбетейки, чалмы учащих медресе, женские тюрбаны с яркой вышивкой, кожаные шапки, сверкающие шлемы воинов и даже папахи из чёрной овчины и серого каракуля на головах стариков. Чего только не предлагал пятничный хорезмский базар, каких только усад человеческих не утолял он, какими соблазнами не завлекал в дурманящую свою паутину! Тут тебе и бобры, и горностаи, и крашенные зайцы, и белки, куницы, волки, соболя, тут и кольчуги на любой кошель, рыбий клей, амбра, мёд, лесные орехи, мечи болгарские, мечи арабские, славянские, хорезмские, тут и печеньё сочное, сухое, и кунжут, изюм, древесина, полосатые халаты, ковры иранские, гуридские, любые, одеяла, колпаки, стрелы, воск! А что за парча – самой лучшей выделки парча! Лучше и быть не может! А луки, а рыба, а сыр, а одежда невероятнейшей окраски! – и чудесные узбекские шаровары, и шлёпанцы по ноге, и покрывала мульхам, и соколы, и сабли, и белая кора тополя! А вино! золотое, преступное, томное! Запах того вина долетал до ноздрей хана – вот какое то было вино! А по краям – бараны, коровы, птицы, козы, славянские рабы и невольницы! В густом гуле торга то и дело пробивались вопли спорщиков, высекавшие верную цену товару, и смех в чайханах, заполненных праздными зеваками. И через всё это буйное великолепие тонкой нитью тянулся назойливый звук двухструнного дутора...

Внезапно словно дрожь пробежала по торжищу. Толпа вдруг замешкалась, точно прислушалась к шёпоту, вмиг облетевшему каждое ухо, и в ту же минуту с высоты башни своего дворца Кучулук-хан узрел сотни лиц, обращённых прямо на него. А ещё через минуту вся площадь осела на колени.

Сердце хана сжалось от гордости. Его убеждали отвести базар от стен дворца, но он распорядился оставить. Изобилие рынка скрывает нищету. Хан с трудом отвёл глаза от застывшей толпы, туда, где за сверкающими небесно-голубой глазурью усадьбами богатых горожан, за площадью, на коей чуть ни ежедневно жители задорно рвали и забивали камнями всякого, на кого указывал кади, за синими, со сверкающими полумесяцами куполами мечетей в облаках пыли туркмены занимались конной выучкой на ипподроме, где среди амбаров и кузниц, шелковичных, плотницких, оружейных мастерских, среди налезających друг на друга бесконечных хижин простые жители вели счёт будничным заботам, а внутри шахристана за внутренним рвом сутились по крепостным стенам ополченцы. И далее – за внешними укреплениями, за рыжими виноградниками, садами, за иссечённой арыками пашней открывался необъятный простор с убегающими к горизонту тополями, с верблюдами, тянувшими арбу, с тихо плывущими по реке судами, нагруженными пшеницей и ячменём, и еле видимой линией далёких синих гор.

Не отводя глаз от горизонта, хан отступил на пару шагов, и минуту-другую спустя шум на базаре возобновился с прежней силой. Хан повернулся кругом – всюду одно и то же – сонный, бессрочный покой с теми же тополями, верблюдами, арбой, с теми же не то явными, не то кажущимися горами, повисшими в поднебесье.

«А где север-то?» – вдруг спросил он себя, замер на месте и даже развёл руками в недоумении. Пот выступил у него на лбу.

– Где север? – уже вслух повторил он вопрос, растерянно огляделся по сторонам и принялся быстрым шагом ходить кругами по террасе, вглядываясь в даль и стараясь уцепиться хоть за какой-нибудь ориентир, подсказку. – Тьфу ты, не понимаю... Совсем, что ли, голову потерял?... – Он нервно рассмеялся. – Где же он... где, зараза?..

Где север?!

4

По холмистому склону, покрытому изумрудно свежей травой, мелко перебирая ногами, бежал истерзанный человек. Растрепавшийся тюрбан бился у него за спиной. Судя по обрывкам ремней на поясе и плечах, это был простой ополченец. Он бежал, вцепившись руками в волосы, раскрыв рот в беззвучном крике, бежал прочь, неведомо куда, спасая не столько своё тело, сколько рассудок. Можно было подумать, что он только что своими глазами видел конец света.

Невыносимо томительной нотой прорезал воздух упругий звук, и в спину бегущему коротко ударила стрела. Не останавливаясь, он упал и покатился вперёд, ещё полный жизни и молодых сил, пальцы его судорожно хватались за траву, пытаясь удержать себя в этом мире. Потом он замер на спине с неловко выгнутой грудью из-за упиравшейся в землю стрелы и какое-то время жил, глядя в небо высыхающими глазами, и в ушах постепенно затихал столосый вой приуготовленных к деловитой резне бесполезных детей и старух. А вдали, по самому краю равнины, буднично перекидываясь отрывистыми фразами, шла группа монгольских конников. Один из них запихивал лук в чехол. Никто не обратил внимания на потерю одной стрелы.

В действительности погода стояла ясная, солнечная. С раннего утра небо было промыто до светло-бирюзового блеска и сонно сияло над далёкой, притихшей землёй. И птицы взлетали высоко, беззаботно купаясь в воздушных потоках возле самого солнца. Но в руинах города, известного как Ак-кала – Белая крепость, уже которую неделю висел чёрный дым, то и дело перебиваемый гранатовыми всполохами неугасимых пожаров, и казалось, будто ночь не оставит эти места уже никогда. Это зрелище неизменно завораживало каана, вселяло в него ощущение власти над человеческой волей, веселило. Поверженный враг так же великолепен, как

загнанные и расстрелянные кабаны, буйволы, волки. Из мучений его, из слёз, ужаса, низости всегда в полный рост поднимается триумф. Разве кто думает о мясе, когда идет большая охота?

В сопровождении небольшого отряда телохранителей-кешиктенов старый каан медленно ехал на своей любимой гнедой кобыле с белой головой по заваленной щебнем и трупами улице бывшего Ак-кала. Город сопротивлялся больше месяца, и за это его не просто разграбили, а буквально разнесли по земле, хотя открывшим ворота имамам и было обещано, что пострадают только начальник гарнизона и те защитники, что запятнали себя кровью монголов. Пленных оказалось слишком много ещё с предыдущих побед. Столько не надо, хватало на всё – и рыть рвы, и строить осадные машины, и первой волной штурмовать крепости. Хватало женщин, мастеровых людей, учёных. Поэтому жителей Ак-кала вывели в поле, разбили примерно на равные части по числу отряженных для этой работы вооружённых топорами монгольским воинов и затем принялись методично рубить, как это происходит со стадом овец, по той или иной причине подлежащему уничтожению.

Когда от города остались одни руины, каан захотел взглянуть на них. Издалека можно было подумать, что почтительные сыновья покорно следуют за престарелым самодуром-отцом, которому взбрело в голову прогуляться на пепелище. Впечатление только усиливалось, если сравнить богатые доспехи кешиктенов со скромным, если не сказать бедным одеянием старика: драная шапка, войлочные сапоги, поношенный халат, надетый поверх лоснящихся от времени кожаных лат.

Лошадь каана то и дело спотыкалась о камни, но он словно не замечал этого. Почему-то не было торжествующей радости в его сердце. И то, что под глазом вздулся здоровенный ячмень, мешающий ясно видеть, заслонило на какое-то время чувство язвительной мести, близкое и понятное ему не меньше, чем любовь к матери. Каан с досадой потёр ячмень рукояткой плети, поморщился и огляделся по сторонам. Как и было приказано, более ничто не заслоняло окрестностей города, они просматривались насквозь. Это вызвало в нём удовлетворение. И вместе какую-то скуку. Странную скуку, чем-то похожую на бездомного пса, трусящего пыльной дорогой в жаркий полдень куда-то. Вдалеке пленные писцы пятые сутки подсчитывали число убитых, перебирая груды отсечённых правых ушей. «Зачем?» – скучно подумал каан и вспомнил, что на том настоял его советник Елюй Чу-цай, желавший учитывать все достижения и приобретения орды.

Неожиданно каан натянул поводья и уставился куда-то в сторону. Свита также замерла на месте. Каан поднял плеть и указал вдаль. В плывущей завесе из сизой пыли и дыма просматривалась фигура человека, неподвижно стоявшего в развалинах на коленях.

– Турчи-нойон обещал, что к утру второго дня здесь не останется ни одного живого хорезмита, – без всякой угрозы и вообще какого-либо выражения в силовом голосе проговорил он.

В ту же минуту самый молодой из багатуров ударил пятками в бока своему коню и сорвался было с места, намереваясь исполнить обещание Турчи-нойона, но старик коротким жестом остановил его порыв. Затем легко тронул свою лошадь и не спеша направился к стоящему на коленях мужчине. Все последовали за ним.

Это был пожилой, но ещё не старый человек, худой до костлявости, одетый в обгоревший по краям полосатый халат. Лицо его было измазано сажей, одна сторона лица оплыла чёрным синяком, голова не покрыта. Длинные седые волосы растрепались, обнажив заметную лысину. Человек стоял на коленях перед грудой битого камня, и в ногах у него тлели затоптанные свитки.

Каан подъехал совсем близко и, откинувшись на заднюю луку деревянного седла, аляповато отделанную серебром, уставился здоровым глазом на последнего обитателя Белой крепости. Тот, как ни странно, не обратил внимания на подъехавшую процессию и остался в прежней коленопреклонённой позе, глядя перед собой. Каан хмыкнул и повернул лицо к толмачу.

– Спроси, кто он такой?

Насмерть перепуганный толмач из кипчакских купцов-караванщиков спешно сложился в седле пополам, вытянул шею, чтобы незнакомец сквозь треск горящих руин разобрал каждое слово, и, заикаясь, перевёл вопрос каана. Лишь тогда незнакомец поднял голову.

– Секретарь кади, – глухо ответил он, обращаясь исключительно к старому каану. – На этом месте стояла наша мечеть.

– Хм... Как ты здесь оказался?

– Был в Бухаре. Кади послал в медресе за свитками. Вот они.

– Ты пришёл сюда ночью?

Хорезмит огляделся по сторонам.

– Ушёл... вернулся... – пробормотал он, словно в тумане. – Здесь была мечеть. Её отовсюду видно. Большая, с высоким минаретом... Там – лавка торговца фруктами, там – мясом... Вон там старый Эль Чур держал чайную... бегали дети... его все знали... А там был базар...

Толмач, пожимая плечами, переводил.

– Ничего, – усмехнулся каан, – скоро здесь будет хорошее пастбище для коней.

– Я написал историю этого города... – горестно прошептал хорезмит и поднял с земли грязный свиток. Потом взглянул прямо в лицо каану и повторил сказанное в полный голос: – Я написал историю города Ак-кала. А что написал ты?

– Э-э, я не умею писать. Зачем это? – Неожиданно старик расхохотался. – Слова – пыль. Когда владеешь народами, – он вытянул руку и сжал кулак, – слова потекут туда, куда я посмотрю.

– Значит, ты и есть тот самый хан?

– А ты, значит, книжник? Лучше бы ты умел лечить глаза. Не бойся, я таких не трогаю.

– Люди говорят, что ты все города вот так...

– Нет, не все. Только некоторые. Мой сын отравился фруктами, которые притащили ваши имамы. Я думал, что он скоро умрёт. Но Вечное синее небо спасло ему жизнь, и я поклялся отблагодарить Небо за доброту.

– Пара гнилых груш стояла целого города?..

Хорезмит нравился каану удивительным безразличием к возможным последствиям своей храбрости. Такие люди всегда вызывали у него уважение.

Каан нагнулся к нему, отвёл руку назад, как бы указывая на дымящиеся просторы.

– Ответь мне, раз уж ты книжник, – сказал он, – будет моя слава жить всегда?

Плечи хорезмита обвисли ещё больше, и он ответил:

– Тебе нужна вечная слава? Боюсь, о тебе некому будет рассказывать, потому что ты, хан, несёшь гибель всем, кто способен выдержать твой взгляд. Мёртвые народы ничего не помнят.

Лицо каана окаменело, из-под выпуклого века холодной яростью полыхнул зеленоватый глаз. Старик схватился за меч, но сдержался и прохрипел с заминкой:

– Меня прославят другие народы... глупый хорезмит!

Затем повернул лошадь и решительно поскакал прочь. Кешиктены потянулись за ним. Последний из них, рослый молодой монгол с тонкими щегольскими усиками, развернул своего коня вокруг стоящего на коленях человека, круто перегнувшись, одновременно вытащив из ножен меч, ухватил мужчину за бороду, дёрнул к себе и двумя короткими, сильными ударами, какими рубят капусту, отсек ему голову. Тело упало на свитки. Отбросил голову в сторону, спугнув зазевавшуюся ворону, вытер меч о голенище и кинулся догонять своих.

Каан ехал и задумчиво почёсывал раздувшийся ячмень.

– Лекарь говорит, что глаз надо обложить помётом фазана и жёлтой глиной, – заметил он, ни к кому, в сущности, не обращаясь и думая о другом. – А по мне, так само пройдёт. Все лекари воры.

Каменное сердце каана изнывало от тоски.

5

Никто не смел его спрашивать. Спрашивали обречённые, которым нечего было терять. И пьяные, потерявшие голову на пиру. Гнев баловня небес непредсказуем. Все ожидали указаний, чтобы неукоснительно их исполнить. Никто не возражал, не задавал лишних вопросов. Слово каана всегда было последним. И если темнику в далёкой Гоби одинокий курьер приносил высочайшую весть о назначенной ему казни, темник садился на коня и покорно ехал туда, где сподручнее было его обезглавить. Так на мягких лапах подкралось одиночество, едва ли осознаваемое им в полной мере, которое всё крепче теснило сумрачной печалью, когда, как теперь, не с кем поговорить просто, непринуждённо, а поговорить хочется... хочется спросить... ответить...

– Туда, – буркнул каан, и процессия повернула на густой шум, похожий на завывание наползающей бури, который доносился из-за бурых холмов, покрытых выгоревшими на солнце виноградниками. Из кустов под копыта выпрыскивали ошалевшие кролики и металась по сторонам. Небеса затянуло серым газом от пепелищ, сквозь него то и дело пробивались и исчезали солнечные лучи.

Взойдя по утрамбованной щебнем тропинке на самый высокий холм, они ненадолго задержались на месте. С возвышенности земля будто ныряла книзу, образуя огромную тазообразную впадину, используемую, судя по всему, для каких-то сельских нужд. Однако сейчас всё пространство вплоть до линии пирамидальных тополей по горизонту буквально кишело плотной человеческой массой, которая шевелилась и стонала, точно единое живое существо, страдающее от боли и ужаса. Всё население города, целиком, до младенца, было сбито здесь, на широкой равнине, из мирной пашни превращённой в место невиданной расправы. Вот уже несколько дней с деловитостью сельского старосты, вымеряющего рога у племенных бычков, монгольские воины, наравне с посудой, одеждой, тканями, оружием, украшениями и прочим скарбом, распределяли захваченных людей, отделяли жён от мужей, детей от матерей, богатых от бедных, слабых от сильных, здоровых от больных, плотников от жестянщиков, жестянщиков от шорников, шорников от ткачей – а отделив, хладнокровно резали лишнее – а значит, ненужное – человежье стадо грубыми короткими ножами, сбрасывая трупы в арыки, вдоль и поперек пересекающие поля. Мутно блестели под чёрным небом грязные монгольские шишаки.

Погружённый в себя, каан не смотрел вниз. Всё это он видел сотни раз и давно не испытывал острых чувств от подобных зрелищ. В глазах вяло тянулись радужные круги, и свет пробивал будто бы изнутри, будто солнце светило в нём. Невероятным покоем окутался разум. Так птица замирает на ветке, волк садится в снег... Ему вспомнился вечер, костёр в степи, искры, летящие ввысь, пасущийся вдальке конь, запах ночного зверя... И тогда шум отступил...

Потом лошадь тихо затрусилась по тропинке вниз. Виноград созрел. Тяжёлые матово-сизые грозди грузно висели на старых, кривых лозах, заботливой рукой подвязанных к подпоркам. Тёплый аромат дурманил голову.

Каан расслабленно переваливался с боку на бок в седле, отклоняясь назад, в шаг своей лошади. Свет всё не гас в нём и даже сделался ярче, и это почему-то не казалось ему странным. Но вопрос, возникший произвольно, удивил. Он подумал ни с того ни с сего: «Кто я?» И не сумел себе ответить.

Заметив его приближение, монгольские воины прекращали свою работу и столбенели на месте с какой-то детской растерянностью. Плоские лица лоснились от пота. Они выражали бесцветную, хозяйскую озабоченность. Каан повёл лошадь среди попритихших толп, равнодушные кешиктены боками своих коней теснили людей в стороны. Как всегда, на него одного были устремлены сотни расширенных глаз, не смеющие просить и жаловаться. Так смотрят на приближающийся тайфун. Каан не замечал их. Он не терпел малодушия, слабости, хотя ему

нравилось видеть низость побеждённых. Сам он нисколько не сомневался в своей решимости идти до предела – пусть и в порыве гнева, хоть гнев и плохой советчик – но надо ли слушать плохих советчиков? Человек битвы, он готов был вырезать всех до последнего чжурдженой и вытоптать их города, дабы перекинуть степь через Великую стену вплоть до поверженного Яньцзиня и избавиться от необходимости возвращаться, чтобы давить мятежи в стране, интерес к которой погас в нём сразу после разграбления. В этом он видел высшее проявление стойкости, на какую способен только Сын Неба. Тогда чжурдженой спас Елюй Чу-цай, убедивший его в том, что налоги принесут большую пользу. В любом случае сердце каана не знало раскаяния.

Но теперь что-то переменялось. Нет, это не было мягкостью, и он оставался таким, каким был всегда. Но что-то проникло в его душу, как яд. Он зыркнул в толпу, заметил растерзанную женщину, прижимавшую к груди ребёнка, – первую попавшуюся на глаза, – и ткнул в неё пальцем.

– Эту оставьте в живых, – неожиданно для себя произнёс он.

Женщину быстро перевели в группу ремесленников.

– И этого. – Он указал на практически забитого дервиша в обмотках, которого послушно отволокли в сторону. Каан медленно ехал вперёд и, не останавливаясь, время от времени тыкал пальцем в случайно выхваченные фигуры: – И того, с бородой, одноглазого.... И вот этих двух... И эту...

Толпа колыхнулась в слепой надежде. Никто не понимал, да и не пытался понять, чего хочет каан, милуя именно этих людей. «Я – Бог?» – вдруг подумал он и даже остановился. Отовсюду неслись вопли предсмертного ужаса. «Раз я могу взять, то могу и дать. А кто может это, кроме Бога?» Он стоял, поражённый своей догадкой. Потом протянул руку и указал на группу оборванных людей, босых, дрожащих, приготовленных к истреблению. «Я — Бог?» – опять подумал он и вслух сказал:

– Этих всех... Что с ними будет?

Измазанный кровью десятник подлетел к стремени каана и прижался щекой к сапогу.

– Им отрубят головы, великий каан, – выкрикнул он. – Они прятались.

Старик пробежал глазами по вытянутой своей руке от локтя до кривого пальца, указывающего на обречённых хорезмийцев, помолчал. Затем отчетливо произнёс:

– Этих всех отпустить.

И ударил в бока лошади, поранив стремением лицо десятнику. Тот, радостно улыбаясь, отёр кровь и гортанным выкриком отменил бойню.

«...или – рука Бога?» Эта мысль ввела каана в ещё большее смятение. Он понял, что так лучше. И прекратил свою непонятную забаву.

Каан высморкался в рукав. Ему всё опостылело, он решил повернуть в лагерь, где в чёрной юрте его ждали две молоденькие кипчакские принцессы. Нельзя сказать, что малышки трепетали от нетерпения встретиться с ним, но если судить по тому, с какой обречённой покорностью снесли они довольно-таки унижительный осмотр сегодня днем, они смирились со своей участью. В конце концов, их чувства мало волновали старого вожда, а вот юность вкупе с невинностью, напротив, бодрила и распаляла желание.

Он уже взял поводья, когда внимание его привлёк многочисленный и пёстрый люд, содержащийся на некотором удалении и имевший вид необычный и странный для такого страшного места. Здесь были карлики и всевозможные иные уродцы, старики в высоких колпаках и плащах из шёлка, одетые в шаровары толстяки с висящими животами, раскрашенные атлеты, множество закутанных в разноцветные ткани женщин, мальчики с подведёнными красной охрой глазами, старцы, безуспешно пытавшиеся сохранить величественную осанку, полуголые нумбийцы с опухшими в руках, люди в масках зверей. Кого тут только не было! Все были напуганы, жались друг к другу, как овцы в загоне, а некоторые лежали на земле в глубоком обмо-

роке, и никто не пробовал привести их в чувство. Кое-кто беззвучно молился, закрыв глаза и подняв ладони кверху.

Каан нахмурил брови и даже перегнулся через луку, чтобы лучше разглядеть занятое сборище.

– Кто это? – спросил он у толмача.

– Это... это в основном из султанского дворца. Челядь, – торопливо пояснил толмач, с тоской взирая на ошметки придворной роскоши, о которой знал не понаслышке, так как служил при дворе хранителем рукописей. – И ещё... из других дворцов... челядь знатных людей...

– Знатных, говоришь? – Каан облокотился на луку и вынул плеть из-за голенища. – Вот эти, старые, кто они?

– Это мудрецы.

– Что они делают?

– Они... думают, великий господин. Размышляют. Им...

– Так. А тот?

– Это звездочёт. Он наблюдает за небом. Считает звёзды.

– Не его ума дело наблюдать за небом. Довольно того, что небо наблюдает за ним. Вон те, безбородые?

– Придворные поэты. Сочиняют стихи.

– И всё?

– Всё... Ещё есть музыканты. Играют на флейтах, дуторах...

– Хм... – Лицо старика напряглось, окостенело. – Женщины из гарема, конечно. А эти жирные огузки?

– Евнухи, повелитель. Они ухаживают за жёнами султана и вообще... знатных людей.

– А, знаю. Вы отрезаете им яйца.

– Да, господин.

– Те?

– Чесальщики пяток.

– Мм? – Брови каана удивлённо приподнялись. – Ну а старухи?

– Они просто живут... Приживалки.

– Зачем?

– Богатому человеку приятно ощущать себя благодетелем.

– Старухи могут убирать навоз или шить кафтаны... А для чего мальчишкам покрасили глаза?

– Это... как бы это... Это наложники.

– Э-э-э?... хм...

– Слушаю, господин.

– А кто вот эти, в чалмах? На них богатая одежда.

– Это и есть знатные люди города.

– А-а, вот, значит...

Повисла невыносимо тяжкая пауза. Рука Бога стиснула плеть.

– Ну что ж, – каан выпрямился в седле, – в таком случае переведи им мои слова. – И своим сиплым, но зычным голосом крикнул: – Вы! – Он тяжело оглядел придворных шутов, а затем, привстав на стременах, обвёл глазами округу. – Вы все будете такими, как мы! Или вас совсем не будет!

Свет в нём потух.

Потом он дёрнул узду, лошадь пошла, забирая на сторону, так что правым боком она смяла понурую толпу султанских слуг, и тогда каан несколько раз наотмашь хлестанул плетью

по головам мудрецов, евнухов, акробатов, наложниц, старух. С отвращением плюнул и бросил на ходу, удаляясь:

– Всех перебить.

6

Их ждали с севера, а они появились сразу по всей линии горизонта и встали, залитые терпкой лавой заходящего солнца. На своих маленьких мохнатых лошадях они казались детьми.

И пока ополченцы бегали по крепостным стенам, пытаясь выстроить силы в определённом многодневной муштрой порядке, пока лихорадочно разводили огонь под чанами, загодя наполненными маслом, звали оставшихся снаружи жителей, прежде чем наглухо закрыть ворота, и собирали по всему городу растерянных командиров, пока придумывали способ, как доложить о прибывшем враге закрывшемся на женской половине хану, монголы так и не двинулись с места и лишь смотрели на город издали, будто на глаз оценивали прочность его обороны. Когда же Кучулук-хан, полупьяный, выскочил наконец из своего гарема в съехавшей набок чалме, с кинжалом, мотавшимся на шее, они уже стали лагерем и разводили костры, зажав в кулак богохранимый город Халадж-кала.

Ночь город не спал. Еще вчера всё было живо и пёстро, как халат узбека: из дворцов и лачуг текла томная музыка, глотатели огня и канатоходцы собирали толпы на площадях, воздух сотрясался от призывных воплей лавочников, и муэдзины своими пронзительными криками с минаретов властно отмеряли часы, делая жизнь человека правильной и понятной; люди доили коз, резали птицу, пили раскалённый чай в чайханах и закусывали свежими лепёшками из пресной муки с чёрным тмином. Пышущие влажным паром бани облегчали груз забот в своих кирпичных ваннах и на горячем, выложенном разноцветными плитками полу. А в богатых домах, густо обкуренных изысканными гуридскими ароматами, жаркое обладание прибывшими со всего света юными невольницами перемежалось с меланхолическими беседами мужчин за обильным ужином, приправленным запретными финиковыми и виноградными винами, а также простым, как полено, араком.

Удивительно, но до последнего часа в городе не прекращался угарный, хмельной, непрерывный праздник без смысла и внятного повода. Дважды в день устраивались публичные казни, жестокостью поражающие воображение, борцы состязались на площадях, в тёмных закоулках женщины предавались любовным утехам, по улицам расхаживали циркачи на высоченных ходулях, гремели танцы, а вино наливали вместо чая прямо на глазах у слуг кади, призванных блюсти законы шариата.

Из всех щелей повылазили больные и убогие; скрючившись, сидели на виду по стенам, в пыли, в ослином навозе, дышали воздухом, даже не просили ничего; развлекали, чем умели, прохожих, тянули к ним гниющие ноги, руки, показывали язвы, кривлялись; иные в дыры ввалившихся носов просовывали языки и шевелили ими, забавляясь; иные пели, размахивали руками, хохотали, разговаривали с собой, живые среди живых.

Теперь ничего этого больше не было. Теперь у всех и каждого тревожно сосало под ложечкой от сознания неминуемости того, о чём до последнего часа старались не думать и жить, будто сто лет впереди.

Наутро вражеский лагерь преобразился. Чуть свет монголы все были уже на конях, они беспорядочно передвигались в клубах пыли, то и дело пускались вскачь, замирали на месте, вертели коней и оглашали окрестности визгливыми криками, направо-налево размахивая камнями и зажатými под мышкой копьями. Со стороны могло показаться, что заняты они каким-то исключительно своим делом, не имеющим отношения к застывшему в напряжённом ожидании городу, который сотнями глаз впивался в них и следил за их перемещениями.

«Зажмуриться – и нет ничего», – тоскливо подумал взобравшийся на минарет престарелый факих, приложив к бровям согнутые ладони.

Несмотря на видимую хаотичность, во всей этой бурной суете угадывалась железная воля приказа и заведомый порядок в действиях. Каждый, видно, понимал, где его место и что он должен делать. Менее всего монголы были озабочены приданием происходящему величественности, значения: не видно было ни знамён, ни горделивых построений, ни барабанщиков и музыкантов с литаврами, ни грозных полководцев, навьюченных сверкающими доспехами и дорогим оружием. Всё выглядело непонятно и до жути буднично. Как на стройке.

К середине дня они выставили перед собой тысячи пленников – от подростков до сохранивших еще силу пожилых мужчин, одетых преимущественно в светлые одежды, – и принудили их опуститься на колени. На какое-то время всё стихло. Потом вдали замаячили, качаясь, влекомые рабами скрипучие баллисты и осадные лестницы.

– Пора, – выдохнул Кучулук-хан, и в приоткрывшиеся ворота на тонконогих скакунах точёной абиссинской породы выскочили три всадника в высоких шлемах с пурпурными султанами, в золотистых развевающихся плащах и молнией поскакали к монголам.

Низко склонив головы, дабы ничего не видеть вокруг, двое цзиньских лекарей барсучьим салом с травами натирали каану ноги, а сам каан, опершись на локти, выговаривал сыну Тулую за обжорство, от которого тот уже вторые сутки лежал в изнеможении на боку, регулярно выползая наружу, чтоб облегчить желудок и тайком проглотить новый кусок, когда в юрту ввели посланника из Халадж-кала.

Молодой красавец с иссиня-чёрной бородкой на белоснежном лице, слегка удивлённый таким приёмом и ошарашенный тяжким духом неубранной конюшни, брезгливо наморщил нос и поклонился, прижав к груди кулак, в котором сжимал листы рисовой бумаги. Потом выпрямил гордо спину и сказал:

– Я, Кара-Куш, сын Кучулук-хана, хозяина этой страны, приветствую тебя, монгольский владыка.

Сидевший к нему спиной каан вывернул голову и краем глаза оглядел прибывшего. Тулуй воспользовался заминкой и перевернулся на другой бок, явив стриженный, в плотных складках, затылок. Каан молчал.

– Я привёз условия, на которых Халадж-кала может открыть ворота перед твоим войском, – заявил Кара-Куш менее уверенным тоном. Слова его не произвели ожидаемого эффекта. Помолчав, добавил: – Это очень важно. И выгодно. В первую очередь для тебя.

Шея каана устала, и он отвернулся от именитого гонца, показав ему свои поседевшие, растрёпанные, выбившиеся из-под ворота косы.

– Ко мне обычно вползают на брюхе, юноша, – назидательно заметил каан, не меняя позы. Лицо Кара-Куша предательски покраснело. Лекарям захотелось незаметно исчезнуть отсюда. Каан вяло отмахнул рукой: – Э-э, ладно. Можешь пересказать условия своего отца. А я послушаю.

7

Уже третьи сутки Кучулук-хан униженно дожидался приёма у монгольского каана, закрытый в собственном серале вместе с жёнами и наложницами, согнанными в одно помещение. Многие женщины были напуганы до такой степени, что перестали следить за собой, ходили в чём попало, беспрестанно плакали и не обращали на своего хозяина никакого внимания. Некоторые, в основном туркменки, шептались, как выгоднее продать его самого, паче чаяния появится возможность обменять своё благополучие, а то и жизнь на истязавшего их долгие годы мучителя. Хотя до поры ни одна не осмеливалась выказывать неуважение, если он

обращался к ней с каким-нибудь требованием, благо таковых было немного: принести воды, фруктов, шербет, помять шею, раздеться – так, мелочи.

Впрочем, не все из них оказались столь низкими и малодушными. В удалённых покоях четыре жены хана тонким кинжалом изрезали себе лица, а ещё две, совсем юные, нанесли увечья в половые органы, чтобы не быть опоганенными грязными северными дикарями. К удивлению своему, Кучулук-хан прослезился при виде такой преданности.

На входе в сераль постоянно маячили, но не ступали внутрь два здоровенных монгола в полном воинском облачении, в кольчугах дамасской выделки и хорезмских шлемах, из-под которых струился пот.

По ночам хан не спал, он лежал в саду на спине, опьянённый благоуханием лаванды, жасмина и роз, и молча смотрел в небо. В чётко очерченном квадрате известняковых стен звёздная высь смотрелась тихой, прекрасной картиной. Ничто не могло потревожить её вечного покоя. Огоньки еле заметно мерцали, подрагивали, словно вода в бездонном колодце, и иногда мимолётными кометами срывались куда-то вниз. Чернота этого неба завораживала, притягивала, она казалась бесконечной, такой, какую невозможно себе представить. Её можно было только видеть, но не знать. И это было прекрасно... «Как же я не замечал этого раньше?» – удивлялся хан, не находя сил оторвать взор от бездонного небесного колодца, похожего на начало жизни... не знающее тревог, не ведающее смерти.

Днём он слонялся по спальням, натываясь на женщин, половину из которых не узнавал, и как заведённый обдумывал предстоящий разговор с главарём кочевников. Конечно, тот был победителем. Но он был уверен в том, что монгола заинтересует его предложение, бывшее частью хитроумного плана, который задумывался и втайне сплетался не один день. Важно и то, что у монгола не было никаких резонов отказаться от равноправного союза с ним. А при таком союзе Кучулук-хан сразу выдвигался на передние позиции и мог говорить на равных хоть с самим багдадским халифом.

Однако чем ближе становилась встреча с кочевником, тем больше тяготила хана необъяснимая, чудовищная противоестественность положения, в котором он оказался. Это был плен. Самый что ни на есть настоящий. И лишь одно успокаивало: всё-таки это был плен домашний, с соблюдением подобающих почестей, а значит – плен, дающий уверенность в том исходе, в котором он был заинтересован.

Конечно, город он сдал – без боя, без сопротивления. Открыл ворота лютым кочевникам, пожирающим побеждённых, живущим вне веры. Но сохранил гарнизон – а это без малого двадцать пять тысяч сабель, не считая отличной кавалерии, способной биться при любых условиях на территории Хорезма. И почему бы ему, гордому Кучулук-хану, не возглавить те тюркские подразделения, что перешли к монголам, – пусть и под властью дикого хана кибиток? Тому ни за что не распутать узлы изящной политической интриги, да и в голову не придёт заниматься столь тонким делом. Вряд ли головы двуногих зверей приспособлены к чему-то другому, нежели жрать, спать и воевать. Так он думал.

В этом странном мире неприкаянных женщин в сердце хана затеплился очистительный огонёк страдания. Блуждая среди них, поглощённый своими мыслями, он вдруг остановился. Взгляд его упал на девочку лет девяти-десяти, которая сидела одна на краю широкого дивана, предназначенного для ночных утех, одетая в полупрозрачную рубашку, и ела виноград, старательно очищая от кожуры каждую ягоду. Она была всецело увлечена этим занятием.

Внезапно хан испугался.

В глазах потемнело.

Неуверенным, порывистым шагом приблизился он к девочке и тихо лёг позади неё. Девочка повернула к нему равнодушное лицо выдавшей виды наложницы. Маленький нос осыпан веснушками. Тонкая, прыщавая шея.

– Как ты попала сюда? – спросил он.

Девочка не ответила. Кончик языка кокетливо высунулся между губ.

– Как тебя зовут?

– Малика, – ответила она.

– Малика... – повторил он задумчиво. – Иди ко мне, Малика.

Девочка послушно отложила виноград, подползла к нему и легла на его живот. Он почти не почувствовал веса её худенького тела, но вспомнил его.

– И вы тоже, – поманил он других девушек, оказавшихся рядом, – вы тоже идите ко мне... и вы... и вы... и ты тоже... и ты... Все... все идите.

Девушки и девочки подходили одна за другой и покорно укладывались вокруг своего хозяина-мужа, а он подзывал всё новых и новых, и те подходили тоже и ложились безмолвно на свободное место. Постепенно диван переполнился нежными созданиями, замершими в разных позах друг на дружке, испуганными, притихшими, а между ними лежал Кучулук-хан, укрывшийся своими женщинами, как одеялом, и по небритым щекам его текли горячие слёзы.

– Я не могу, – беззвучно шептал он, не слыша себя самого, – я не могу... что делать?.. я не могу... не могу...

8

Лишь к вечеру четвертого дня за ним пришли трое воинов-кебтеулов, ответственных за хозяйственное обслуживание ставки, причём, как ни странно, это были ляодунцы, возможно, потому, что в совершенстве владели тонким искусством церемоний.

К тому времени хан забылся беспокойным сном. Его разбудили и вежливо предложили следовать за ними. Кучулук-хан не сразу понял, чего от него хотят, а когда понял, засуетился. Две жены помогли ему надеть заранее приготовленный парадный кафтан, отделанный золотом и стразами, который настолько был перегружен богатыми украшениями, что до поры попросту стоял в углу, как истукан. Также он надел красные, с высоким голенищем, мягкие сапоги, унижал пальцы перстнями с драгоценными камнями, а грудь – золотыми цепями и амулетами. Жены расчесали ему волосы, смазали их ароматным маслом и водрузили чалму со страусиновыми перьями, приколотыми алмазной брошью. Потом они намеревались заплакать, но он запретил.

Хан был собран, бодр и полон самых радужных надежд. Целый мир смотрел на него с любовью.

Они прошли сквозь анфиладу покоев и вышли в просторный холл, ведущий в залу, предназначенную для важных встреч и товарищеских пирушек. Таких во дворце было немало, но эта выделялась особенно изысканной роскошью. На пути к ней по обе стороны от входа в узких глиняных чашах зачем-то горели пропитанные салом факелы. Бесперывно кланяясь, кебтеулы предложили Кучулук-хану пройти между ними. Тот повиновался, не задаваясь вопросом, для чего это нужно. Перед закрытыми дверями, сплошь покрытыми изумительной резьбой в виде сур из Корана, с инкрустациями перламутра, золотыми нитями, ароматными вставками из корня мирта, стояло несколько войлочных идолов, отдалённо напоминающих человеческие фигуры, с длинными сосцами, сделанными из кожи. Кебтеулы, молитвенно сложив руки на груди, склонились перед ними. Поклонился и Кучулук-хан, мысленно проклиная дикие обряды, но следующий соображениям вынужденной необходимости. «Я кланяюсь сурам», – заверил он себя и Аллаха.

Только затем кебтеулы отворили двери. Первое, что бросилось в глаза Кучулук-хану, – белый конь, накрытый попоной из шкуры чёрного волка, который стоял налево от входа и меланхолично жевал сваленный перед ним стожок свежей травы. Увидеть внутри дворца коня хан, по правде сказать, не ожидал. И в этом была его ошибка, поскольку, входя к великому каану, видеть надлежит одного лишь каана, и никого другого, даже коня.

Между тем каан усталил на пришедшего внимательный взгляд из-под опухших от бессонницы век. Он скрючился перед шахматным столиком с фигурами из обсидиана. Сидевший напротив имам ал-Мысри учил его игре в шахматы. В воздухе висел удушливый смрад конюшни.

– Плохой у тебя вход, наместник. С востока, – сказал каан склонившемуся в глубоком поклоне Кучулук-хану. – Вход должен глядеть на юг. Я не захотел ставить здесь свой гэр. – И опять уткнулся в шахматы. – Так ты говоришь, это конь? – спросил он имама.

– Да, повелитель, – подтвердил ал-Мысри, – эта фигура именуется конём.

– Тогда где у него ноги? – удивился каан. – Вон стоит конь. У него есть ноги, спина, хвост. А у этого одна только башка. И почему он не может идти прямо, как вот эта башня, а принуждён вилять?

– Таковы правила. Конь может ходить только так. Иначе не будет игры.

Кучулук-хан открыл было рот, желая вернуть внимание каана, но ал-Мысри, заметив его порыв, еле заметно отрицательно тряхнул головой.

– Э-э... А почему слон ловчее коня? Он легко пересекает всё поле.

– Если только не подвергает себя опасности быть битым фигурами противника. Им нет нужды прятаться. Они ходят так же. Каждая, вот смотри, угрожает открыто, как требуют правила. Легко представить, что будет, если сделать бездумный ход. Надо учесть все угрозы и только потом ходить. Надо быть бдительным, повелитель.

– Что?

– Я говорю о шахматах.

– Хм... Зачем эта игра, имам?

– Она учит думать.

– О чём думать?

– О том, как остаться в живых, великий повелитель, и победить.

Каан надолго умолк. Потом приподнял брови, подёргал себя за бороду и изрёк:

– Это хорошая игра. Похожа на то, что делают люди. Мы будем в неё играть. Но если ты станешь мне поддаваться, имам, я прикажу пускать в тебя стрелы без наконечников до тех пор, пока ты не испустишь дух.

Ал-Мысри, трепеща, покорно склонился.

– В таком случае, – запнувшись, заметил он, – я выстрою какую-нибудь позицию. Попробуем вместе понять, что делать, чтобы навязать противнику свою волю.

– Постой. Хар-хох, кажется, уже готов.

Дело в том, что посредине сверкающего беломраморного пола, исчерченного изысканными арабесками из малахита, золота и сланцевого камня, горел костёр на высушенном верблюжьем кизяке. Старик всегда любил дух своей стороны. На открытом огне установлена была фляга с кусками бараньего мяса и гладкими камнями внутри. Каан сделал знак, и одноглазый раб в роскошном дворцовом халате, слишком просторном для его худых плеч, и драных шароварах бегом захромал к костру, заботливо вывалил содержимое фляги на медный поднос и чуть не ползком доставил его хозяину. Старик облизал камни, отхлебнул бульона. Подумал. Сжал в кулаке кусок трепещущего жёлтого сала и властным жестом подозвал растерянно мявшегoся в дверях Кучулук-хана.

– Иди, – позволил он. – Садись сюда. Ведь ты хочешь быть моим младшим братом.

Кучулук-хан неуверенно приблизился. Даже не оглядываясь, он кожей почувствовал, как напряглись скулы у Кара-Куша, который замер, скрестив на груди руки, позади сидящих перед ним нойонов. Придерживая руками негнущиеся полы парадного кафтана, Кучулук-хан присел на войлок в непосредственной близости от страшного монгольского владыки. В нос ударила чудовищная вонь от горящего навоза, бараньего сала и не знающего ни глины, ни бобовой муки, ни тем более мыла, закосневшего в грязи и выделениях человеческого тела. Голова хана

пошла кругом. Невольно он вынул из-за пазухи надушенный платок и прижал к носу, и это была очередная ошибка. Кучулук-хан быстро спохватился и спрятал платок, но монгол видел, хотя ничего не сказал. Слегка приподнявшись на кошме, он вложил в руку хорезмского хана мокрое сало:

– Ешь.

Затем ногой подвинул поднос с мясом к ал-Мысри и предложил угощаться. Имам поблагодарил и взял кусок ребра.

– А что ты скажешь об этих маленьких фигурках? – спросил каан.

Торопливо проглотив непрожёванный кусок, ал-Мысри пояснил:

– Это солдаты. Пешки.

– Пешки.

– Их много. Они мешают противнику перейти в наступление и выстраивают оборону важных фигур. Ими легко жертвуют, потому что их много. Но если пешка сумеет пройти через всё поле, она становится ферзём.

– Вот видишь, наместник хорезмшаха, как это важно, иметь много надёжных пешек. Выходит, не так важна знатность, когда пешка может стать первой фигурой, если проявит упорство.

Кучулук-хан энергично закивал в ответ, чуть не теряя сознание от вони и сала, которым вынужден был забивать рот, давясь от отвращения и при этом не смея подать виду. Глаза его наполнились слезой. Монгол ухмыльнулся.

– Тогда я должен понимать, с кем имею дело, – сказал он. – С пешкой, которая желает дойти до конца поля, или с ферзём?

– Я не люблю шахматы, повелитель, – выдавил из себя Кучулук-хан. – Мне ближе игра в бабки.

– А, знаю. Там один забирает всё, довольно одной ловкости.

Желая сменить тему, Кучулук-хан поднялся на ноги, снял с пояса кожаный мешок.

– Вот, владыка, вот прими с чувством искренней дружбы и преклонения перед твоим безграничным величием.

Каан хладнокровно взял мешок. Из него выпал усыпанный алмазами и изумрудами золотой амулет в форме парящего орла.

– Это великая и бесценная вещь, – добавил Кучулук-хан, прежде чем сесть.

Повертев орла в руках, каан пожал плечами:

– Как может быть великой и бесценной вещь? Вещь – не степь, не горы. Великим может быть только Небо.

– Я хотел сказать... я забыл сказать... этот амулет, он из Мекки... Его держал в руках сам пророк...

– А теперь ты отдал его мне, – округлил каан и презрительно сморщил нос. – Твой бог держал в руках то, что теперь будет болтаться в моём далинге. Хорошо.

Лицо Кучулук-хана потемнело, это всегда означало приближение гнева. Он распрямил спину, глубоко выдохнул.

– Я подарил тебе то, что ты мог взять и так, – сказал он неожиданно твёрдым голосом, что несколько удивило каана. – Можно называть это слабостью. Но никто не уличит меня в предательстве веры. Аллах велик. Ему не нужны мои жертвы. В них нуждается мой народ.

– И это ты называешь жертвой?

– Это знак моего богатства и могущества, – вырвалось у Кучулук-хана, и он не пожалел о том, что сказал.

Ал-Мысри закрыл глаза.

Каан поправил малахай на голове и упёрся ладонями в раздвинутые колени.

– Чем ты владеешь? – помолчав, спросил он. – Этими домами, дворцами? Разве ты можешь погрузить их в кибитку и взять с собой? Нет, это они владеют тобой, а не ты ими. Удар камчой и тот заметней, чем твоё богатство и могущество.

– Прости, я не желал разгневать тебя, повелитель.

– Жаль. А ведь ты хотел стать мне младшим братом.

– Да я и сейчас этого хочу.

– Но братья всегда говорят друг другу правду. И не боятся.

Кучулук-хан хватал ртом воздух. Он не знал, что ответить.

– Хочешь еще хар-хоха? – спросил каан. – Бери.

– О нет, благодарю тебя. Сыт. Здесь бывали всякие застолья, но такого блюда эти стены ещё не видали. Очень вкусно.

В ответ на лестные слова монгол удовлетворённо кивнул, облизал пальцы и вытер руки о войлок своих сапог.

Кучулук-хан незаметно огляделся по сторонам и наткнулся на горящие глаза Кара-Куша. Он чуть не сказал ему: «Спокойней, сынок, охладись. Самая горячая месть сделана изо льда. Надо терпеть. Всё ещё впереди». От большинства ваз в зале остались одни черепки. Наружная дверь была выбита. Стены из нежно-розового мрамора сплошь покрыты фекалиями и кровью. Фонтаны завалены грудями вещей, притащенных сюда со всего дворца в виде военного трофея. «Подумать только, – пронеслось в голове, – две побритые монгольские морды – и такое разрушение! Вот и не верь после этого в волю случая».

Тем временем каан расспрашивал ал-Мысри о том, как ходит ферзь. В той комбинации, которую построил хитроумный имам, ферзь имел большие преимущества. Каану особенно нравилась эта фигура, сильная, манёвренная. Он долго разбирал возможности его поведения, заучивал.

На полуслове, не оборачиваясь, вдруг спросил:

– И что же мы будем делать?

Вопрос застал Кучулук-хана врасплох. Он даже вздрогнул:

– Прости, несравненный, я не понял...

– Ведь это твой сын принёс мне послание. А после ворота Халадж-кала отворились. Однако не просто так, а с условием.

– Да.

Кучулук-хан на мгновение зажмурился, толчками выдохнул воздух, чтобы собраться с силами, и вдохнул обратно. Момент откровения, которого он так долго ждал, наступил.

– Почему ты решил, что можешь ставить мне условия? – спросил каан, не отрываясь от шахматной доски. – Все, кто сдаётся, просят лишь об одном – жить.

– Это потому, что у них нет ничего другого.

– Что же может быть ещё?

– Ключ. Отпирающий любые ворота.

– Значит, он у тебя есть, – заключил каан и развернулся к Кучулук-хану. – Я люблю открытую схватку, – на губах у него просквозило подобие улыбки, – когда видишь врага и не знаешь, он – тебя или ты – его? Эти крепости, эти города, с ними много мороки. – В силовом голосе монгола появилась доверительная интонация, которую уловил Кучулук-хан и внутренне воспрянул. – Последнее время мне много приходилось драться с городами. Они не нужны. И те, кто живет в них, тоже не нужны. А ключ, он просто отпирает ворота, да?

Кучулук-хан вытер взмокшие ладони о полы своего кафтана. И только тут обратил внимание на то, во что был одет страшный седобородый монгол. Помимо засаленного малахая на голове да грязных сапог из юфтовой кожи с войлоком он был одет в простой суконный плащ, какие носят степные пастухи, разрезанный сзади от талии до низа, а спереди доходящий до пояса. Он сидел с подвёрнутыми полами, словно укрывался от дождя и ветра. И сколь вызыва-

юще нелепо смотрелся рядом с ним пышный кафтан властителя поверженного без боя Халаджкала в драгоценных камнях, с золотой вышивкой! Кучулук-хан даже задохнулся от стыда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.